

Людвиг Филипсон

Яков Тирадо



*Часть сборника
Испанский меч (сборник)*



Людвиг Филипсон

Яков Тирадо

«Public Domain»

1867

Филипсон Л.

Яков Тирадо / Л. Филипсон — «Public Domain», 1867

«Большая, или Испанская площадь составляла всегда и составляет теперь средоточие общественной жизни Брюсселя. Со всех сторон примыкают к ней улицы и переулки, вследствие чего движение тех, кто проходит по площади, не прекращается даже среди ночной беспокойной тишины. Расположенная у подошвы возвышения, эта прекрасная площадь служит соединительной частью верхнего и нижнего города, так что все связи между той и другой совершаются через ее посредство. Почти всю ее одну сторону занимает величественная ратуша, своими многочисленными минаретообразными башенками напоминающая время, когда испанское господство, в пределах которого никогда не заходило солнце, лежало тяжелым гнетом и на этой стране...»

© Филипсон Л., 1867

© Public Domain, 1867

Содержание

Глава первая	5
I	5
II	12
III	20
IV	27
Глава вторая	33
I	33
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Людвиг Филиппсон

Испанский меч

Глава первая

Взрыв

I

Большая, или Испанская площадь составляла всегда и составляет теперь средоточие общественной жизни Брюсселя. Со всех сторон примыкают к ней улицы и переулки, вследствие чего движение тех, кто проходит по площади, не прекращается даже среди ночной беспокойной тишины. Расположенная у подошвы возвышения, эта прекрасная площадь служит соединительной частью верхнего и нижнего города, так что все связи между той и другой совершаются через ее посредство. Почти всю ее одну сторону занимает величественная ратуша, своими многочисленными минаретообразными башенками напоминающая время, когда испанское господство, в пределах которого никогда не заходило солнце, лежало тяжелым гнетом и на этой стране. Вокруг площади тянутся величественные здания, некогда принадлежавшие цехам и корпорациям, и теперь еще носящими их названия, украшенные их гербами и знаками, флагами и символами – пестрыми, кое-где с сохранившейся тяжелой позолотой. Напротив ратуши возвышался так называемый Хлебный дом, в прежние времена принимавший в своих распланных залах и апартаментах тех высоких гостей короля, для которых не оказывалось места во дворце, а иногда удаивавшийся даже пребывания в нем принцесс королевского испанского дома. Но давно уже, по крайней мере с наружной стороны, он совершенно заброшен, и своим порталом, балконом и бесчисленным множеством высоких окон представляет мрачное зрелище, точно рука истории начертала на нем только ужасающие воспоминания. В настоящее время перед ним стоят на одном пьедестале железные статуи графов Эгмонта и Горна, воздвигнутые свободной бельгийской нацией в память о ее мучениках. В ту пору, в какую нам предстоит перенестись, было не так, потому что оба графа еще пребывали среди живых людей. Но уже недолго.

Мрачной и бурной была ночь с четвертого на пятое июня 1568 года. Большая площадь оставалась совершенно пустынной, изредка только раздавались шаги запоздалого прохожего, но более шумной площадь становилась тогда, когда тут проходил испанский патруль – он проходил молчаливо, но громко бряцая оружием; и бывало довольно часто это и в большом составе военных. Но разве днем не происходило то же самое? Улицы почти всегда были пусты, дома плотно затворены, подвозы из деревень ничтожны, съезда иностранцев почти никакого. Всякий, кому приходилось идти по улицам, ускорял шаги, – самые близкие знакомые при встрече предпочитали не останавливаться, приветствуя друг друга едва заметным кивком. Было похоже на то, словно все боялись показываться публично и напоминать властителем о своем существовании. Но тем гуще наполнялся город испанскими солдатами, немецкими ветеранами, испытывавшими свою храбрость на службе у испанского престола, шпионами и священниками из всех стран, во всевозможных одеяниях. Отовсюду, где появлялись эти лица, бежали все остальные, и некогда многолюдные места становились, точно вымершие. К этому добавлялась общая, походившая на поголовное бедствие эмиграция, и уже сотни тысяч жителей перебрались за пределы своего отечества, гонимые самыми тяжкими опасениями за свою жизнь, бросив на произвол судьбы в лице государственного казначейства значительную часть своего имущества.

Причина всего этого заключалась в том, что в Бельгию с безграничными полномочиями государя явился герцог Альба в сопровождении многочисленного войска, составленного из самых храбрых и самых жестоких солдат короля. Перед ним быстро померкла власть нидерландской регентши, Маргариты Пармской, сестры короля, и с глубокой горечью в душе и со слезами на глазах, никем не провожаемая и не чувствуемая, покинула она страну, в которой только что успела с величайшим трудом восстановить тишину и спокойствие. Но Нидерланды уже давно были ареной крупных смут. Здесь учения Лютера и Кальвина нашли многочисленных приверженцев. Север присоединился к ним почти целиком, из южных провинций – небольшая часть. Но еще дороже были для каждого честного нидерландца старые писанные права и льготы страны, штатов, городов, сословий. Они глубоко засели в сердце каждого нидерландца, и каждое покушение на них было для него равносильно покушению на его собственную личность. Все попытки Карла V искоренить ересь оставались бесплодными, все его декреты, определявшие тяжкие наказания, не приводили ни к чему, все усилия ввести здесь испанскую инквизицию рушились; и все это имело один результат – раздражение католиков, в той же степени лютеран и кальвинистов. Филипп II стал действовать еще строже и еще смелее нарушать привилегии страны, в особенности долговременным содержанием испанских военных отрядов в Нидерландах. В народе происходило сильнейшее волнение; противники римской церкви поступали все бесстрашнее, иконоборчество опустошало церкви и часовни и было подавлено только благодаря беспощадной строгости. Образовался союз «гезов», на суше и на море грозивший опасностью власти короля. Но она еще оставалась неприкосновенной. Регентша умела посредством хитрости разъединить союзников, сдерживать стороны и, хоть и с трудом, но восстанавливать спокойствие. Но для короля этого было недостаточно. Он желал большего: безусловной покорности, уничтожения всех прав и привилегий, полной власти инквизиции и искоренения ереси. Вот для этого он и послал сюда Альбу.

Подобно тому, как губительная моровая язва опустошает своим дыханием города и повергает в горе и безмолвие целые страны, приезду герцога предшествовал общий ужас, отнявший бодрость у самых мужественных сердец и заставивший опуститься самые храбрые руки. И то, чего опасались, нашло себе страшное подтверждение. Кровавая работа началась, и из тех восемнадцати тысяч голов, которые герцог Альба в конце концов обрек секире палача, многие именно теперь упали на эшафот. За несколько дней до этого на Большой площади были казнены двадцать пять дворян, в том числе и верный секретарь графа Эгмонта, Казенброт Бекерцеель, у которого даже под пытками не смогли добиться признания в мнимой измене его господина. Четвертого июня отряд из трех тысяч испанцев твердым шагом и с мрачным видом приблизился к брюссельским воротам со стороны Большой Гентской дороги. Воины охраняли два экипажа. В них находились графы Эгмонт и Горн, которые, высижив восемь месяцев в Гентской цитадели, должны были теперь выслушать приговор себе в Брюсселе. Народ знал, что эти высокочтимые им люди находились в стенах города, и повсеместно распространился быстрый слух, что скоро им суждено окончить свое существование. Но не раскрылись ни одни уста, не шевельнулась ни одна рука – всех сковывал ужас. Обоих пленников, бывших вместе с принцем Вильгельмом Оранским во главе всей нидерландской нации, заточили в Хлебном доме. Через несколько часов после их приезда Альба созвал Совет двенадцати, который называли Советом смут, потому что он должен был карать смертью всех, кто каким бы то ни было образом принимал участие в смутах того времени, – и страшное судилище умело с точностью выполнять свое предназначение. На этот раз на собрание явился сам герцог; он не потребовал подачи голосов и не позволил проведения никакой судебной процедуры обвинения, защиты и приговора, – дело ограничилось тем, что его секретарь Странц положил на стол два запечатанных пакета, потом вскрыл их и прочел написанное. Это были смертные приговоры графам Эгмонту и Горку, обвиненным и уличенным в гнусном заговоре с принцем Оранским и в недобросо-

вестном служении королю и святой церкви; документы эти были подписаны только герцогом и секретарем, а приговор должно было привести в исполнение на следующий день.

Так хотел герцог. При этом он и не собирался прятаться от мнения света и негодования народа. Все желал он совершать на виду у всех и под свою ответственность: пусть каждый знает, что, как пали под топором головы, точно так же не будут пощажены и остальные части тела, что герцог для того и создан облечен надлежащей властью. Пусть ужас превратит всех в малодушных трусов – а он воспользуется этим и наложит железные оковы на все города страны. Как он нарушил привилегии ордена Золотого Руна, кавалерами которого были оба графа, как в силу своих неограниченных полномочий оставил без последствий сопряженный с этим обстоятельством протест, что только король и кавалеры этого ордена могут судить его членов – точно так же пусть знают все сословия и города этой страны, что он разорвет все их писанные права и привилегии, точно паутину, не будет слушать никакой защиты и никакого оправдания, а станет беспощадно карать всякого, кто не выкажет безусловной преданности королю, католической церкви и священной инквизиции.

Ночь была темная и бурная. После душного дня над городом разразилась сильная гроза. Электрические разряды унеслись на крыльях неукротимого ветра, но он все еще продолжал размахивать ими, временами обрушивая на землю проливной дождь, страшно завывая и ревя вдоль улиц и стен домов.

На восточной стороне Хлебного дома, на втором этаже, размещалась обширная зала, которая в ту пору еще сохраняла следы большого великолепия и богатых украшений. Плафон был покрыт превосходными изображениями на сюжеты из священной истории работы знаменитых мастеров, а стены – роскошными обоями; позолота изобиловала всюду, окна были из дорогого дерева. Но разительную противоположность этой пышности представляла жалкая обстановка залы. Вся мебель ограничивалась простым столом и несколькими стульями, а у задней стены стояла низкая кровать без занавесок. Посредине комнаты с потолка свисала тускло горевшая лампа, отбрасывавшая ничтожный свет на малую часть огромного покоя. На кровати лежал человек, покрытый тяжелым дорожным плащом; он, по-видимому, спал мирным сном.

Тихо открылась средняя дверь залы, и вошел высокий почтенный старик в платье католического епископа, в сопровождении двух священников. Священники остановились у входа, так что при царившей там темноте они были едва заметны. Епископ же, осмотревшись в пустой зале, медленно направился к постели спящего. Тут он остановился, но его шаги не нарушили сна незнакомца. Несколько минут смотрел он на лицо этого человека, обращенное к скудному свету лампы. Оно казалось спокойным, даже веселым, и прекрасные мужественные черты его с тонко очерченным носом, несколько крупными губами, белокурыми волосами и чудесной бородой свидетельствовали, что перед повергнутой в бессознательное состояние душой проходят только приятные картины. Епископ глубоко вздохнул, глаза его наполнились слезами, скатившимися по зарумянившимся щекам на серебристую бороду, опускавшуюся почти до пояса; в левой руке он держал пергамент, который дрожал, потому что подрагивала судорожно сжимавшая его рука. Фигуру старика как бы передернуло от страха, но он скоро оправился и, прошептав: «Так должно быть, Господь желает этого!», взял спящего за руку и потряс ее. Тот медленно открыл глаза – светло-коричневые, выражавшие столько добродушия, столько мужества и одновременно столько слабости, – и с изумлением посмотрел на того, кто так внезапно перенес его из царства снов в грубую действительность. Но вскоре он окончательно пришел в себя и узнал стоявшего перед ним. Он быстро откинул плащ и приподнялся.

– Господи! – воскликнул он чистым, звучным голосом, в котором, правда, чувствовались изумление и тревога. – Вы здесь, ваше преосвященство! Что привело вас к постели бедного узника и притом в ночную пору?

– Встаньте, граф Эгмонт, – ответил старик тихо и грустно, – я здесь с печальной вестью и с тяжким поручением.

Граф побледнел, но быстро накинул на себя ночную одежду из красной парчи и вслед за епископом вышел на середину залы. Лампа осветила благородную фигуру, поражающую пропорциональностью всех частей и прекрасным ростом и свидетельствующую о соединении в этом человеке величавого достоинства с милой приветливостью. Выжидательно стоя перед стариком, он спросил:

– Что предстоит мне получить из рук вашего преосвященства?

– Самое тяжелое, мой сын, что только может достаться смертному из рук человеческих, даже священнических.

И видимо колеблясь, он приподнял пергамент и с глубокой горечью добавил:

– Это, сын мой, приговор, определяющий тебе расстаться с жизнью скорее, чем судил, по-видимому, божественный промысел совершиться естественным путем.

Граф отступил на несколько шагов назад, смертельная бледность разлилась по его лицу и, с усилием произнося слова, он выдавил из себя:

– Как, неужели это означает смерть? Неужели этот приговор... Нет! Я не могу поверить...

– А между тем это действительно так, граф, – продолжал епископ. – Как ни тяжело мне объявить вам такой приговор, но я должен это сделать. Соберитесь с духом, покоритесь воле Того, от Которого мы получаем все – жизнь и смерть!

И он развернул роковой пергамент и прочел написанное повергнутому в ужас графу. Когда он кончил, граф выхватил из его рук пергамент, и глаза его быстро пробежали по строчкам, словно он хотел убедиться в неотвратимости неожиданного удара. Затем он возвратил сверток епископу, выпрямился во весь рост и сказал:

– Да, это жестокий приговор! Не думаю, чтобы я так тяжко провинился перед королем. Никогда во мне не было даже мысли, которая заслуживала бы таких ужасных последствий. Но если так угодно Богу и королю – я умру твердо и спокойно.

Несмотря, однако, на эти слова, он осаждал священника вопросами, заклинал его высоким епископским саном сказать всю правду, сказать, не для того ли делается все это, чтобы дать ему почувствовать все тревоги и ужасы этого наказания, не объявится ли в последнюю минуту помилование короля, на которое ему ведь давали право его прежние заслуги. Старик отвечал на эти вопросы только вздохами и знаменательным покачиванием головы; наконец он кротко сказал:

– Сын мой, надо воспользоваться по-христиански теми немногими часами, которые еще остались для тебя на земле; приготовься оставить эту земную юдоль и через милосердие твоего Спасителя примириться с твоим Богом!

Герой Кентена и Гравелингена, бодро смотревший в глаза смерти в стольких битвах, снова обрел себя и с безропотной покорностью и спокойствием исполнил священные обряды своей церкви – исповедался, принял отпущение грехов и набожно помолился под руководством седого епископа. Граф на коленях принял благословение и обещание епископа сопровождать его к эшафоту. Затем старик вышел из залы вместе с одним из священников, продолжавших оставаться у дверей. Граф Эгмонт, шатаясь, вернулся к своей постели, опустился на нее и обеими руками оперся о голову. В таком положении просидел он долго. Вокруг царил тишина, только изредка доносились в отдалении шаги часового да завывание ветра за окнами.

Но вот из глубины залы отделился второй священник, до этих пор неподвижно стоявший там, и направился к графу. Эгмонт был так глубоко погружен в море размышлений и чувств, что заметил приближавшегося к нему только тогда, когда тень от этого человека, остановившегося между ним и светом лампы, упала на него и побеспокоила глаза. Эгмонт машинально поднял голову и с недоумением посмотрел на стоявшую перед ним незнакомую фигуру. Это был францисканский монах в надетом на голову капюшоне серой рясы этого ордена.

– Граф Эгмонт, – сказал священник глухо, но внятно, – я пришел в этот тяжкий час предложить вам жизнь и свободу.

Граф вскочил, словно ужаленный; он быстро обошел вокруг монаха и таким образом поставил его перед необходимостью повернуть лицо к свету лампы. Впрочем, тот и не сопротивлялся; напротив, он тотчас сбросил с головы капюшон – и граф увидел большую, прекрасную, еще юношескую голову с черными густыми кудрями; бледен был лоб, бледно лицо, в чертах которого обнаруживались решительность, сила и энергия, еще более выдававшиеся от мечтательного огня, сверкавшего в темных глазах. Тут было все – непоколебимая мысль, неизменная воля, несокрушимая энергия. Проницательный взгляд графа, обладавшего большим знанием людей, – хотя и не умевшего извлекать для себя из этого пользу, тотчас угадал в этом монахе редкого человека, который в страшных житейских испытаниях и невзгодах почерпнул и закалил в себе железную твердость убеждений, намерений, целей.

Обменявшись с незнакомцем взглядом, Эгмонт воскликнул:

– Жизнь, свобода... из рук монаха, в то самое время, когда Филипп и Альба подают мне своими руками смерть?.. Кто же ты? Кто послал тебя? Или ты пришел сам?

Францисканец отвечал спокойно и твердо:

– Повторяю вам – жизнь и свобода нынешней же ночью, но при одном условии: вы должны прежде поклясться мне жизнью, вашей жены и детей, что с этой минуты будете выступать неустрашимым врагом короля Филиппа, отважным бойцом за независимость нидерландского народа и против того адского судилища, которое называет себя святой инквизицией и в настоящую минуту приступает к терзанию и этой страны. Граф Эгмонт не такой человек, чтобы нарушать свою клятву, и с последним ее звуком я поведу вас к жизни и свободе.

Граф Эгмонт был очень смущен и отступил на несколько шагов назад. В душе его происходила тяжелая борьба; он крепко прижал руку к сердцу и безмолвно посмотрел на монаха.

– Граф, – снова сказал незнакомец, – не обманывайте себя. Борьба началась: Людвиг Нассауский разбил графа Аренберга при монастыре Гайлигерле и теперь осаждает Гренинген; принц Оранский придвинулся с войском к границе. Он послал меня к вам и просил вспомнить последние слова разговора у окна в Виллебреке. То страшное, что предсказывал он вам, осуществилось. Услышите по крайней мере у подножья эшафота зов вашего благородного друга. Разрыв полный. Филипп и инквизиция – на одной стороне, правда и свобода Нидерландов – на другой. Займите то место, которое указывают вам рождение и сам Промысел: станьте во главе народа, который вас любит и ждет себе вождя – и вы будете свободны.

С постепенно возрастающим напряжением слушал граф монаха. Лицо его вспыхнуло ярким румянцем, когда он услышал о победе герцога Нассауского и приближении принца Оранского, но краска мгновенно сошла, а рука сделала отрицательный жест, когда собеседник нарисовал ему такими определенными штрихами ближайшую будущность. Потом он воскликнул:

– Но кто же ты, пришедший ко мне в церковном одеянии для того, чтобы возбуждать меня к восстанию против церкви?

На губах монаха появилась ироническая улыбка, и он ответил:

– Не против церкви, а против выроodka двух адских сил – фанатизма и тирании – против инквизиции. Вы спрашиваете меня, кто я? Видите сами – простой францисканский монах, брат Диего де-ла-Асцензион, кастильянец. Но если бы бедствия и скорби имели силу делать человеческие волосы седыми, эти черные кудри давно уже блестели бы как серебро, – а всеми моими несчастьями я обязан исключительно этому таинственному судилищу. Все, что я любил, оно умертвило, все, чем я обладал, оно похитило...

Все больше возвышая голос, топнув ногой, он продолжал:

– Тогда-то повязка спала с моих глаз, тогда-то я сделался врагом инквизиции, и пока останется в этих жилах капля крови, я готов пролить ее в борьбе с этим бичом человечества! Пусть будут моим уделом ее темницы, ее пытки, ее смерть в тысячах видов – я не боюсь их, лишь бы дани мне было испустить последний вздох с отрадным убеждением, что рука разру-

шения коснулась этого мрачного здания, что человеческий род может снова вздохнуть свободно!.. Да, я знаю, моя родина уже погибла, этот цветущий полуостров с его благородным, гордым народом покрыт уже ядовитыми сетями инквизиции, и его лучшие силы и все плодородие его почвы высасываются ею. Но тут и должен быть поставлен предел ее пагубному могуществу: эти Нидерланды, эта отвоеванная у моря страна пусть делается полем битвы, на котором это чудовище должно получить смертельный удар, откуда свобода совершит победоносное шествие по всем землям и морям... И если король Филипп неразрывно связан с инквизицией, то пусть борьба ведется и с ним, пусть падет и его корона!

Монах замолчал, а граф Эгмонт несколько минут оставался в глубокой задумчивости.

– Вы смелый человек, – сказал он наконец, – вы отважны и не боитесь заходить слишком далеко. Но еще один вопрос: каким же способом можете вы освободить меня?

Монах, по-видимому, ожидал этот вопрос; он подошел к Эгмону поближе и тихо ответил:

– Вы требуете, граф, много доверия – больше, чем, кажется, намерены оказать его с вашей стороны; но вы и заслуживаете этого. Я мог бы ответить вам: «Прежде сообщите мне ваше решение» – но пусть будет так, как вы желаете. Видите ли граф, есть две вещи, которыми открываются дороги ко всем тайнам, двери во все помещения, пути ко всем целям – твердое сердечное убеждение, ибо оно неодолимо привлекает к человеку все сердца, и золото в щедрой руке, ибо оно покупает себе всюду руки. Я владею и тем, и другим. Если вы согласитесь на мое условие, то я отдам вам эту рясу, и вы, укутавшись в нее, дойдете по моему указанию до задней двери, которую отопрет вам стоящий там испанский солдат. Как только вы переступите за нее, вас возьмет за руку человек, которым вы будете проведены совершенно безопасно на место, где ждет вас благородный конь. Садитесь на него, и тогда я буду знать, что граф Эгмонт свободен: лучший ездок нашего времени в несколько часов достигнет лагеря своего друга, который примет его с радостно распростертыми объятиями. А теперь довольно слов, потому что об ожидающей меня судьбе вам нечего заботиться: я принял все меры. Итак, граф, скорее – решайтесь!

Пламенный взгляд францисканца был устремлен на графа. И так пристален был этот взгляд, что темнота в зале не могла помешать монаху ясно видеть все, отражавшееся на лице Эгмонта. И тут он скоро открыл, что даже его страстная речь не воспламенила графа. Напротив, Эгмонтом овладевало все большее беспокойство: он то ходил взад и вперед, то скрещивал на груди руки, то задумчиво опускал голову. Наступила продолжительная пауза. Тем спокойнее и хладнокровнее оставался монах. Неподвижно стоял он перед графом, обратив глаза в противоположную сторону, как будто дело уже не касалось его, и он был занят другими мыслями. Наконец граф поднял голову, подошел к монаху, протянул ему руку и сказал:

– Кто бы ты ни был, монах, и каковы бы ни были твои намерения, но ты – искуситель, желающий воспользоваться грозящей мне опасностью, чтобы соблазнить меня. А-а! Вы считаете графа Эгмонта легкомысленным, добродушным и слабым человеком – но вы ошибаетесь. В незначительных вещах он, может быть, и таков, но в задаче своей жизни он всегда оставался твердым, непоколебимым, верным себе и на словах, и на деле! Я принес королю присягу в верности и никогда не нарушу ее. Все за права моего народа, но ничего против власти короля! Несчастное ослепление с обеих сторон! Но я не могу излечить «его и не могу служить одной стороне на пагубу другой. И разве эта война не принесет еще больших бедствий этой цветущей стране, разве она разрушит их города, уничтожит их обитателей, разорит их не сильнее, чем подчинение врагу до наступления более счастливой поры? Этот народ – я хорошо знаю его – силен в часы опасности, но слаб в день победы; он не в состоянии закрепить за собой свой успех; его рука дрожит, когда ему приходится отдавать гроши на покупку оружия, долженствующего защитить его от смертельного врага. Принц Оранский ничего не добьется, потому что торгошники никогда не дадут ему вовремя необходимых средств... А я? Если бы я даже нарушил

мою присягу, принес новую, бежал из этой тюрьмы, то что бы ожидало меня? Конфискация моего имущества, отнятие земель, нищенские скитания по разным дворам с женой и детьми... Нет-нет, я уверен в помиловании; император Максимилиан собственноручно писал моей жене, что король дал ему слово не делать мне ничего дурного и обратить мой последний шаг в первый к новой жизни и новым почестям; мне следует только оставаться твердым в испытании которое должно доказать мою верность... И кто же поручится мне, что вы, монах, которого я вижу сегодня впервые, не креатура той же инквизиции, не наемник моего врага Альбы, которому вменено в обязанность подвинуть меня на такой шаг, чтобы восстановить против меня короля, и тогда уже получить полное основание к исполнению приговора? Идите, идите, я буду ждать и не поддамся обману, верность всегда одерживает победу.

Монах неподвижно выслушал эту речь, не обнаруживая ни малейшего волнения, и холодно ответил:

– Я не стану убеждать вас, граф. Ваше сомнение в том, что именно принцем Оранским послан я к вам, должно бы развеяться передачей вам мною тех слов, которые могли быть известны только вам и ему. Или, быть может, вы полагаете, что Вильгельма Молчаливого легче обмануть, чем вас? Но не в этом дело. Вы не доверились принцу Оранскому, как же можете вы довериться мне? Вы считаете своей обязанностью отстать от вашего народа и сохранить присягу верности тирану – против этого ничего не поделаешь. Но слушайте...

Сквозь шум ветра и звук их голосов доносились с площади глухие удары топора.

– Слышите вы эти удары? – продолжал монах. – Знаете ли вы, что они означают? Граф Эгмонт, это строят черный эшафот, на котором прольется ваша теплая кровь... Вот мое последнее слово: устам короля Филиппа чуждо слово «помилование», они никогда не произносили его и никогда не произнесут. Вам уже раз солгали в Мадриде, и вы опять верите лжи. Не делайте вашу жену вдовой, ваших детей – сиротами!

И граф тоже слышал глухие звуки, доносившиеся с площади, и он тоже понял их смысл. Он в ужасе вздрогнул, все его тело затряслось, щеки побледнели, холодный пот выступил на лбу. Но вскоре он снова пришел в себя, грустная улыбка заиграла на прекрасных губах, голова отрицательно покачнулась. Тогда монах запахнул свою рясу и сказал:

– Итак, я ухожу. Я сделал свое дело. Для меня выгоднее, чтобы вы остались здесь, нежели последовали за мной. Ваша жизнь во главе народа никогда бы не имела такого значения, как ваша смерть под секирой палача, ибо мощно и победоносно взойдет семя, оплодотворенное вашей кровью!

Он исчез в темноте залы и неслышными шагами выскользнул за дверь. Граф снова опустился на кровать. Когда вскоре в комнату вошел слуга, Эгмонт потребовал себе письменных принадлежностей, чтобы написать королю заявление о своей преданности и просьбу не лишать его жену и детей принадлежавшего ему состояния. Надежда на помилование не оставляла его даже на эшафоте. На пути к нему, даже на самом помосте, он не переставал устремлять глаза вдаль, – через головы солдат, окружавших эшафот, и несметную толпу народа, все ожидая, что вот-вот появится желанный вестник. Но вестник не появился. И даже после принятия святого таинства Эгмонт еще не потерял надежды на помилование. Он даже спросил у капитана дона Юлиана Ромеро, сопровождавшего его вместе с епископом на эшафот: неужто и в самом деле не ждать ему помилования? И тот ответил отрицательным кивком головы. Тогда граф стиснул зубы, сжал кулаки, надвинул шапку на глаза и положил голову на плаху.

II

В одном из роскошных домов города Миддельбурга сидел в красивой комнате, перед столом, на котором горело несколько свечей в серебряном канделябре, человек, не достигший еще тридцатилетнего возраста. Он, по-видимому, был погружен в глубокую задумчивость, потому что сидел, опершись на руку головой, и его крепкая, энергичная фигура не шевелилась. Несмотря на то, что его костюм по покрою и форме был похож на тогдашний костюм старшего служителя в доме, но отличие его составлял совершенно темный цвет, не совсем соответствовавший вкусу ни господ, ни слуг, предпочитавших очень светлые и блестящие цвета. Как ни неподвижен был этот человек, но именно такая поза свидетельствовала, что на душе его было совсем не так спокойно, что оковы этого оцепенения были наложены на него тяжелыми и мрачными мыслями и что мысли эти были очень далеки от того места, в котором пребывало в настоящее время его тело. Встречаются люди, участь которых – постоянно вращаться в самых неожиданных противоречиях, самых решительных противоположностях. Судьба налагает на них самые тяжелые жертвы, давая им возможность достигнуть одной цели не иначе, как жертвуя другой, которая не менее дорога для них, которая согласуется, правда, в меньшей степени с их долгом и жизненным призванием, но тем более соответствует склонности их сердца, жару их ощущений. В таком именно состоянии и находился этот человек. «Как! – восклицал в нем внутренний голос. – Я собственными руками должен разрушить все надежды мои на высочайшее блаженство и навеки забить дверь, которая со временем могла ввести меня в рай счастья и наслаждения! Я сам должен проложить дорогу, на которой мой счастливый соперник достигнет обладания тем, что составило бы высшую отраду всей моей жизни!.. О, Мария Нуньес, мне приходится двукратно отречься от тебя, потому что я должен помогать человеку, назначенному тебе в мужья!.. А между тем я не могу поступить иначе, если не хочу изменить тому, что сделалось задачей моей жизни, стать отступником от того, к чему направлены все мои стремления, все мои усилия, все мысли и поступки!»

Внезапный шум вывел его из забытья. Слуга быстро открыл дверь комнаты и впустил хозяина этого дома – по крайней мере, теперешнего его обладателя – в великолепном полу-восточном, полуиспанском платье. Наш незнакомец вскочил, отступил на несколько шагов и отвесил низкий поклон. Хозяин, по-видимому, не ожидал встретить здесь этого человека; он постоял некоторое время на пороге комнаты, с изумлением глядя на него.

– Вы здесь, Яков? – вскричал, он.

Тот, к кому обращались эти слова, снова поклонился и скромно, но с некоторым ударением, как будто хотел напомнить своему господину что-то особенное, отвечал;

– Да, дон Самуил, я вернулся несколько часов назад, исполнив поручение, которое вы удостоили возложить на меня.

Дон Самуил, как видно, понял своего слугу, ибо после этого легко вошел в комнату, приветливо кивнул Якову и приказал другим служителям подавать ужин.

Дон Самуил Паллаче был очень красивый мужчина – высокого роста, стройный, с достаточно пропорциональными чертами лица, прекрасными глазами и чудесными волосами; а для того, чтобы все это представлялось в еще более выгодном свете, он обращал большое внимание на свой туалет. Но если глаза и рот обличали присутствие в нем известной хитрости и понятливости, то выражение лица не было лишено ограниченности, а начавшаяся полнота и обрюзглость свидетельствовали о слабости и нерешительности характера. Он комфортно расположился в кресле, и слуги вскоре подали ему вкусный ужин, за который он принялся очень энергично. Яков тоже прислуживал, одновременно давая ответы на незначительные вопросы, которые обращал к нему дон Самуил. По окончании ужина, когда хозяин еще раз наполнил

свой бокал искрометным испанским вином и почти разлегся на своем седалище, слуги удалились, и остался только Яков.

– Ну, Яков, – сказал Самуил, – теперь садитесь возле меня, налейте и себе вина и давайте мирно беседовать о наших делах. Вы долго были в отсутствии после того, как мы расстались по приезде в Амстердам, и я уже почти боялся, что вы пропали в этой беспокойной стране, терзаемой разногласиями различных партий.

– Я не мог, не рискуя и вашей, и моей безопасностью, дать вам весть о себе. Но условленные между нами сообщения время от времени получались мной, и мне было нетрудно найти вас в Миддельбурге, тем более, что всюду, где только появляется дон Самуил Паллаче, о нем много говорят, и его местопребывание известно всякому.

Этот двусмысленный комплимент, по-видимому, очень понравился хозяину дома, и он приветливо улыбнулся.

– Но прежде всего, – сказал он, – удачно ли вы съездили, с хорошими ли вестями вернулись?

– На первый вопрос могу ответить утвердительно; а хороши ли вести – это смотря по тому, как вы взглянете на дело.

– Не говорите загадками, друг Яков, вы очень хорошо знаете, что я их терпеть не могу.

– Ну, так доложу вам, что я наблюдал очень старательно, был в Брюсселе и Антверпене, Люттихе и Мехелене, Цютфене и Арнгейме – и убедился, что благоприятных условий для осуществления нашей цели мало. Жестокости Альбы всюду вызывают негодование и жажду мести, но столько же страха и раболепства. Таким образом, бедным марранам – новохристианам – нечего надеяться найти в этих местах убежище, где они могли бы наконец утолить жажду своей души и снова начать исповедовать Бога своих отцов. Тут они попали бы из огня да в полымя. Вы знаете, что там, где господствует Альба, инквизиция распоряжается жизнью и смертью людей. Я думаю, что здесь, на севере – в Голландии и Зеландии, скорее найдется местечко, где на первых порах могут безопасно поселиться хотя бы несколько семейств. Но вам это должно быть известно лучше, чем мне. За исключением этого неблагоприятного результата моей поездки, она мне удалась, потому что я привез вам письмо от принца Оранского к бургомистру и Совету Миддельбурга. Конечно, доставка его сюда оказалась сопряжена с большими затруднениями и опасностью.

С этими словами он расстегнул свой камзол и вынул из внутреннего кармана запечатанный пакет. Дон Самуил поспешно и радостно схватил его. Он с большим любопытством и со всех сторон рассматривал письмо, несколько раз прочел многословный адрес и полюбовался вполне сохранившейся печатью с оранским гербом.

– Вот это чудесно, вот это превосходно! – несколько раз повторил он. – Вы молодец, Яков! Ну, конечно, теперь у наших добрейших миддельбургских сановников исчезнет всякое сомнение и опасение. Известно ли вам содержание? Читали вы это письмо?

– В проекте читал. Секретарь герцога сообщил мне его сущность. Принц в простых, но теплых словах ходатайствует за ваше предложение, говорит, что он ожидает от него больших торговых и промышленных выгод для города и что поэтому ему будет приятно услышать об исполнении этого плана.

– Прекрасно, прекрасно! – говорил дон Самуил. И глаза его сверкали от удовольствия, обрюзглые щеки разругались, чему, конечно, немало способствовало недавнее обильное потребление хереса, и он весело потирал руки.

– Тем не менее, дон Самуил, – продолжал Яков, – я советовал бы вам передать это письмо бургомистру самым секретным образом, а уж он пусть сообщает своим советникам, потому что в настоящее время никому, конечно, нежелательно быть уличенным в открытых сношениях с принцем Оранским. Поэтому если вы передадите это письмо открыто, то можете навлечь на себя большие неприятности со всех сторон.

Дон Самуил испугался.

– Ну конечно, конечно, это само собой разумеется! – воскликнул он и, вскочив со своего кресла, поспешно подошел к скрытому в стене шкафу, отпер его и положил пакет в потайной ящик. Вернувшись затем на прежнее место, он спросил, понизив голос:

– Что же за человек этот принц?

Этот вопрос, по-видимому, привел в сильное волнение человека в темном камзоле; вся его фигура оживилась, голова поднялась, глаза засверкали. По мере того, как он говорил, воодушевление его росло, и он как будто забыл, к кому собственно обращена его речь.

– Принц Вильгельм Оранский, – торжественно начал он, – необычайно великий человек, ум, стоящий выше всяких предрассудков, чуждый всякому узкому мышлению, взгляд которого объемлет собой целый ряд столетий и которому вполне понятна работа труждающегося человечества. По его мнению, всякий человек имеет право мыслить и чувствовать, как ему угодно, лишь бы он поступал честно и справедливо; всякому должно быть дозволено жить, где он пожелает, лишь бы он оставался полезным гражданином; всякий пусть занимается тем, что ему знакомо и приятно, лишь бы это не причиняло вреда другому. Закон должен господствовать, но ему не следует ограничивать никого относительно других, и перед ним все равны. Это – взгляды, вынесенные принцем из наблюдения над всеми теми страшными войнами и междоусобицами, которые уже полтора столетия сотрясают мир, и в этом – победа, которая должна быть последствием их. Да, он сделает эту страну родиной религиозной свободы, и отсюда понесет она свое знамя во все части света... исключая мое несчастное отечество... Этот Оранский – великий ум, но ему все-таки недостает того всеувлекающего, всепобеждающего гения, под ногами которого горы превращаются в развалины, а низменности вздымаются в высоту. И несмотря на это он победит. Ибо он умеет вовремя остановиться и вовремя двинуться вперед – кстати кинуться в атаку и кстати занять выжидательную позицию. Под его высоким лбом планы зреют медленно, но быстрые глаза никогда не упускают благоприятной минуты для осуществления этих замыслов. В особенно сильной степени обладает он искусством слушать и этим способом узнавать истину... Верьте мне, с Вильгельма Молчаливого начнется особая, лучшая эпоха, но название свое она получит не от него...

Дон Самуил о немалом изумлении слушал эту восторженную, для него малопонятную речь своего мнимого слуги и уже выказывал некоторые признаки нетерпения. Когда же тот замолчал и снова погрузился в задумчивость, он спросил:

– Где же вы нашли принца и как вам удалось проникнуть к нему и склонить его в нашу пользу?

Яков тотчас пришел в себя и ответил несколько небрежно:

– Я говорил с принцем дважды: сперва в Дилленбурге Нассауском, куда он бежал со своей семьей, потом – на гелдернской границе, во главе его войска. Но об этом я расскажу вам когда-нибудь в другое время.

– Каким же образом проникли вы к нему?

– Дон Самуил Паллаче, – ответил Яков несколько резко и акцентированно, – вы знаете наше условие: я ваш слуга, вы мой господин, но и то и другое – до известного предела. Довольствуйтесь тем, что у вас в руках письмо принца, которое откроет вам всякое истинно нидерландское сердце; я исполнил мою задачу. Теперь расскажите мне о ваших делах, объясните ваши намерения, чтобы я мог содействовать им, сообразуясь со своими силами и средствами.

Дон Самуил бросил вопросительный взгляд на этого человека, казавшегося ему таким загадочным, но тот оставался спокоен, потому что был слишком убежден в своей собственной важности, чтобы долго раздумывать о значимости другого человека.

– Извольте, – сказал дон Самуил. – Вы знаете что марокканский султан, консулом которого я состою в Лиссабоне, поручил мне отправиться в некоторые страны для сбора ему как можно больше червонцев за пленных христиан, привезенных в его гавани кораблями его госу-

дарства. У него скопилось слишком много собственных рабов для того, чтобы он не желал избавиться за хороший выкуп от этих мятежных пленников. Между тем, как я готовился исполнить желание государя, покровительству которого я только и обязан тем, что, будучи евреем, могу безопасно жить на глазах инквизиции в Испании и Португалии, – наша достопочтенная и милая Майор Родригес очень просила меня найти ей и ее близким пристанище, в котором они могли бы существовать, не рискуя жизнью и состоянием. В награду за эту услугу она и ее муж, дон Гаспар Лопес Гомем, обещали мне руку их дочери, прекрасной Марии Нуньес, обьявив, что отдадут ее мне в тот самый час, когда снова получат возможность открыто и свободно молиться Богу Израиля...

По выражению лица собеседника дон Самуила было видно, что хотя все это для него не внове, он слушал своего мнимого господина с большим напряжением. Последние слова дон Самуила, по-видимому, глубоко взволновали его, губы его сжались плотнее, веки опустились на воспаленные глаза, руки, лежавшие на коленях под столом, сжались в кулаки. Но дон Самуил, отданный только своим мыслям и полный мечтаний о блаженном будущем, ничего этого не замечал и продолжал:

– В то время вы были мне рекомендованы сеньорой Майор в качестве руководителя в чужих странах, где я до тех пор никогда не бывал и язык которых мне мало знаком. Вы отлично исполнили свое дело. Жаль только, что вы отказались от всякого вознаграждения за свои услуги... Для исполнения поручения султана я ездил главным образом в Англию, и там дело у меня пошло успешно. На казначействе султана это отразится очень благотворно, ибо англичане – нация великодушная – поспешили развязать кошельки, чтобы доставить своим пленным соотечественникам возможность поскорее увидеть свою туманную родину.

– И сверх того, дон Самуил, – заметил Яков, – вы сделали гуманное дело, не причинив к тому же и себе никакого вреда.

Дон Самуил ухмыльнулся.

– Если бы вы видели мои счета, то удивились бы им. Я довольствуюсь маленькими барышами, хотя легко мог бы удесятерить их с той и другой стороны. Из Англии вы отправились сюда прежде меня, и мы снова встретились только в Амстердаме, откуда снова разъехались после коротких переговоров. В Нидерландах мне удалось сделать немного. Здесь скаредные люди, думающие только о себе, и им приходится теперь столько хлопотать о собственных интересах, что до других никому из них нет дела. «Как! – говорят они. – Нам всем хотелось бы перебраться куда-нибудь подальше отсюда, а с нас требуют больших денег для того, чтобы другие могли вернуться сюда!» Таким образом, я бросил дела моего султана и по вашему совету, друг Яков, отправился в Миддельбург, чтобы добыть здесь для вас надежный приют.

– И насколько вы преуспели в этом? – спросил Яков с крайним напряжением.

– Все сделалось совершенно так, как я желал. Господин бургомистр отнесся ко мне с благосклонным вниманием, но я пока ограничился испрошением права поселиться здесь только двум семействам – Гомем и Паллаче. Я красноречиво изобразил этому сановнику степень богатства этих семейств, их международное влияние, капиталы, которые они сюда привезут, торговлю, которую они разовьют в Миддельбурге, и – это, быть может, подействовало сильнее всего – обещал заплатить городу тридцать тысяч червонцев и затем ежегодно выдавать по тысяче. Вся эта перспектива очаровала почтенного бургомистра. Он сообщил своим советникам мои предложения и, по его словам, склонил большинство из них на нашу сторону. Они теперь только ищут какого-нибудь солидного предлога, который оправдал бы их действия в глазах общественного мнения, и вот таким-то предлогом послужит для них письмо принца. Итак, будем надеяться на успех, друг Яков. Через два дня состоится окончательное заседание Совета по нашему делу; завтра же утром я передам послание господину бургомистру. Если решение окажется благоприятным, то мы заключим легальный договор, и тогда немедленно – обратно в Лиссабон. Счастливого пути, Яков!

В порыве радостного увлечения дон Самуил вскочил с места и протянул руку своему собеседнику. Тот взял ее после минутного колебания и на горячее пожатие ответил довольно холодно. Но дон Самуил или не заметил этого, или принял за подобающую слуге сдержанность. Вскоре он выразил желание отправиться в свою спальню, и после того, как Яков загасил все свечи, оба оставили комнату.

В течение двух следующих дней, которым предстояло миновать до решающего заседания Совета, Яков бродил по городу и, посещая трактиры и другие общественные места, имел достаточно поводов убедиться, что ему не следует разделять безусловные надежды своего господина. Правда, письмо принца произвело желанное воздействие на господ советников, и на них можно было вполне рассчитывать. Иное было в народе. Распространился слух, что Совет решил впустить в город евреев, и толпа, уже несколько столетий не выдавшая этого народа и только по преданиям представлявшая себе картину изгнания его и умерщвления некоторой его части, пускалась в самые чудовищные предположения и выдумки, которые умышленно еще более разжигались фанатиками и врагами Совета. Вследствие этого в городе господствовало сильное раздражение; брань и проклятия уже заранее сыпались на Совет, и не было недостатка в самых страшных угрозах.

Наступил третий день. Когда бургомистр и советники появились в зале заседаний, они обнаружили все лестницы и коридоры заполненными сильно взволнованной толпой, а свои стол и стулья – окруженными множеством людей с враждебно устремленными на них взглядами. Но они не усматривали в этом ничего зловещего, а считали все это проявлением простого любопытства, которое весьма легко могло быть вызвано новым предметом совещания. Ввиду этого настроения бургомистр считал себя еще более обязанным подробно объяснить цель собрания и дать обильное и свободное течение своей речи. Он с большим искусством обрисовал печальное положение города, который, благодаря постоянным смутам и беспорядкам, всяческими ограничениям и насильственной эмиграции, податям и налогам на торговлю и промышленность, пришел в такое положение, при котором огромное множество семейств обеднело, купцы остались без торговли, ремесленники без занятий, рабочие без всевозможных заработков, – он изобразил все это такими яркими красками, привел столько отдельных подробностей, взятых из действительности, и впал в такой скорбный тон, что речь его не могла не произвести впечатления на слушателей. Многие из них смотрели друг на друга и кивали головой в подтверждение слов оратора; были и такие, у кого эти слова вызвали обильные слезы.

Ободренный этим очевидным успехом, бургомистр перешел к вопросу – как пособить этому горю? Он распространился насчет того, как много уже пришлось выстрадать от этих бед его отеческому сердцу и сердцам всех остальных отцов города, скольких забот и совещаний им это стоило, сколько мер принималось ими для устранения зла; но все оставалось бесплодным, и зло только росло все больше и больше. И вот как раз в эти тяжкие минуты судьба послала им консула марокканского султана, дона Самуила Паллаче, обратившего свой взор именно на Миддельбург. Дело шло о допущении в город не неограниченного количества евреев, а только двух семейств с их прислугой. И тут бургомистр сообщил, какую они обязывались внести сумму, которая немедленно пошла бы на удовлетворение городских нужд, и сколько намеревались платить ежегодно. В заключение своей речи он весьма явственно намекнул на Совет и желание принца Оранского и на удовольствие, которое доставило бы ему принятие этого предложения.

Никто не смог бы сказать, что бургомистр не исполнил своей задачи вполне мастерски. Все слушатели точно преобразились, и их настроение передалось толпе, заполнившей лестницы и коридоры, перенеслось даже на улицу. Немногого недоставало для того, чтобы вся эта масса разразилась ликованием, словно город освободился от осаждающего врага. Поэтому когда бургомистр обратился к советникам и спросил их мнения, то возражений не представилось никаких, и председатель намеревался приступить к собиранию голосов. Вдруг толпа

заволновалась, раздались крики: «Место господину священнику! Место достопочтенному господину доктору Концену!» Толпа раздалась, и доктор Концен, знаменитейший городской проповедник реформаторского вероисповедания, вошел в залу и быстро подошел к столу. Это был высокий, тощий человек с покрытым глубокими морщинами лицом, широким и высоким лбом, большими серыми глазами, которые, чуть только он раскрывал рот, начинали бегать во все стороны и усиливали своим страстным огнем могущественное действие его речи. Живость движений, беспокойное состояние его рук и всей фигуры поддерживали это впечатление, так что одно его появление уже волновало каждого слушателя. Он выступил вперед и сильно, громко начал:

– Остановитесь, господин бургомистр, и вы, господа советники! Что я слышу! Нет, это неправда, это не может быть правдой! Вельзевулу и всему сонму, адских дьяволов надо было выйти из преисподней для того, чтобы в одну ночь наполнить этот богобоязненный город духом ослепления, отравить ядом умопомешательства! Неужели это известие справедливо! Нет, не может быть, чтобы вы еще раз продали Христа за тридцать серебряников! Не может быть, чтобы вы решили впустить в ваш город врагов спасителя! Как?! Прошло так немного с того времени, как вы победили Вавилон и изгнали его жрецов Ваала, очищенное христианское учение еще так недавно торжествовало свою победу, войдя сюда – и вот вы уже намереваетесь воздвигнуть новые алтари Молоху и притом – ради гнусных барышей! Обремененные божьим проклятием люди войдут в наши ворота и распространят свое проклятье и на ваши головы! О, проснитесь, жители Миддельбурга, страшитесь кары небесной! Уничтожьте преступное решение, если оно уже состоялось, идите в церкви, и там, повергнувшись во прах, истязайте, бичуйте себя, дабы Господь простил вам за то, что вы могли даже подумать о таком греховном деле! Меч Гедеонов над вами! Вой и скрежет зубов, язва и смерть обрушатся на ваши улицы и дома, если вы не послушаетесь веления Господа! Враг близко, он обратит ваших жен во вдов, сделает ваших детей сиротами и разобьет храмы, воздвигнутые вами Маммоне, и потухающие очи ваши будут проклинать блеск адского золота, за которое вы продали спасителя... Нет, этого не может, не должно быть! Не пятняйте вашего города следами шагов этих детей Сатаны, дыхание которых уже отравляло вас, держите его чистым и священным для очищенного учения! За мной, все вы, собравшиеся здесь! Час молитвы и покаяния наступил, поспешим к подножию святого креста, преклоним перед ним наши души и услышим слово искупления!

И он повелительно простер руку над собранием. Его страшные слова быстро пленили толпу и изменили ее настроение до такой степени, что воспоминание о всей соблазнительной перспективе, раскрытой перед ними в речи бургомистра, не только исчезло, но еще и обратилось в повод для резкой укоризны. И когда проповедник с криком: «Следуйте за мною, иначе горе, трижды горе на вас!» пошел к дверям залы, из тысячи уст вырвалось: «За ним, за ним! Горе, горе! Долой евреев! К подножию святого креста!» Толпа ринулась вслед за проповедником, принудив также и бургомистра и советников встать и идти вместе со всеми в церковь. Начался колокольный звон, улицы заполнялись все больше и больше по мере того, как народ примыкал к двигавшейся толпе, из растворенных дверей храмов неслись звуки органов, на всех кафедрах появились проповедники, громившие замыслы и цели Совета. Не прошло и часа, как невозможно было уже и думать о решении, которое еще так недавно казалось совершенно состоявшимся и закрепленным. В те исторические моменты, когда религия становится предметом самой неистовой борьбы, нежный цветок веротерпимости не может пустить корни и взойти пышным растением: тут сражаются не за свободу, но за победу, и та партия, которой достанется эта победа, налагает на другую то самое ярмо, которое она только что сбросила с себя. Нет, не борьба, не вражда, не война родит свободу, терпимость, право, а только мир, один мир!

Если бы страшное волнение, охватившее народ, и могло улечься через какое-то время, и слова фанатичного проповедника мало-помалу забылись бы, снова уступив место решениям

рассудительных и разумных людей, то этому благоприятному повороту все равно вскоре был бы положен конец посланием герцога Альбы ко всем городам Голландии и Зеландии.

«Герцог, – говорилось в этом документе, – узнал, что в некоторых городах проживали или даже имели полную оседлость евреи; таковых всюду, где они окажутся, следует немедленно арестовывать и передавать в его герцогские руки».

К счастью «таковых» не оказалось нигде, кроме маленького городка Ваггенингена в Гельдернской провинции, но жители его были настолько благомыслящи, что предпочли изгнать своих евреев. Это случилось в день празднования рождения испанского инфанта, который явился на свет как бы возмещением Филиппу II за его первенца дона Карлоса, им же самим загубленного.

И вот, в один из следующих вечеров дон Самуил Паллаче и его слуга Яков снова сидят друг против друга в той же комнате; но на столе нет вкусных яств, наполненных кубков, а дон Самуил сильно озабочен и опечален. В Якове это подавленное настроение не так заметно. Его желание доставить надежное убежище своим несчастным лиссабонским единоверцам было, конечно, не слабее такого же стремления дона Самуила. Но он отчасти уже предвидел такой оборот дела, отчасти же к его чувству присоединялись и другие, побуждавшие его не очень сожалеть о неосуществлении планов его мнимого господина и сопряженного с этим родства Самуила с фамилией Гомем...

– Итак, Яков, все погибло, – со вздохом сказал дон Самуил, – и нам остается только отправиться в Амстердам и снова сесть на корабль. Султану здесь тоже не повезло – ему предоставляется право держать своих пленных христиан и терзать их, сколько душе угодно. Проклятая страна! Я продрог до костей, таким морозным холодом несет здесь от солнца, земли и людей, и нужно терпение араба, чтобы выслушать до конца речь любого из них. Не знай я, какое горе причинит этот поворот дела почтенной сеньоре Майор и какую опасность навлечет он на красавицу Марию Нуньес, мне было бы даже приятно, что эта страна не хочет нас и что я могу так скоро покинуть ее.

– Это так, – отвечал Яков, как бы выйдя из глубокого забытья, – но нам все-таки не следует отказываться от всякой надежды. Положимся на волю Божью. Ведь мы же посеяли здесь семена, и нам в этом отношении отнюдь не следует пренебрегать письмом принца Оранского – чего он раз захотел, то от этого уже не отступится, и рано или поздно осуществит – и решением бургомистра и советников, которые, конечно, имеют своих приверженцев. Ведь великие цели не достигаются ничтожными средствами, и для того, чтобы сорвать плод, растущий на верхушке дерева, нужно взобраться на дерево. Борьба должна начаться во что бы то ни стало, и грубое господство тирании должно утонуть в реке крови!

– Насколько я вас понимаю, Яков, словам своим вы хотите придать назидательный для меня смысл, но это напрасно. Я не люблю крови и не знаю, что она приносит, кроме ужаса и гибели. Но довольно. Я уже приказал укладываться; завтра нанесу последний визит бургомистру, и затем прощай, Миддельбург, навсегда!

– Мне же вы позвольте оставить ваш дом уже сегодня вечером. У меня есть еще кое-какие дела в этой стране. Через три недели я буду у вас в Амстердаме, и оттуда мы отплывем вместе. Если же к тому времени я не приеду, то не заботьтесь обо мне и моей участи.

Дона Самуила, по-видимому, смутили эти слова. Яков же тотчас после них встал и протянул ему руку.

– Как? – воскликнул дон Самуил. – Вы оставляете меня? И именно теперь, когда ваши советы были бы мне крайне нужны в Амстердаме! Оставайтесь со мной, Яков, и бросьте эту таинственность. Я питаю к вам безграничное доверие, а вы ко мне – никакого... «Хорошего, нечего сказать, слугу дала мне сеньора Майор!» – пробормотал он про себя, увидев, что Яков сделал отрицательное движение головой и собрался уходить.

– Я не могу поступить иначе, дон Самуил! – ответил он торжественным тоном. – Вы знаете наш договор и не станете мешать мне. Прощайте! Если Богу угодно, мы свидимся в Амстердаме.

Он поклонился и вышел.

III

Если с Большой Брюссельской площади свернуть влево, в ближайшую улицу, идущую в одном направлении с фасадом ратуши, то скоро попадаешь в маленький, узкий переулок, носящий название Impasse de Violet. В то время, к которому относится этот рассказ, переулок состоял из маленьких, ветхих домишек, но заканчивался он большим зданием, имевшим, впрочем, довольно мрачную наружность. Зато велик был шум, происходивший там в течение целого дня, особенно вечером и в первые ночные часы. Дело в том, что тут размещался любимый трактир испанского гарнизона, отчего он и назывался «Веселый испанец». Множество испанских солдат беспрерывно входило и выходило, и возникал кутеж, увлекавший далеко за пределы простой веселости даже столь серьезных и столь мрачных испанцев. Хозяин был, правда, не испанец, но истый толстобрюхий фламандец, что не мешало ему, впрочем, поворачивать умные глаза во все стороны и не щадить круглого живота и коротких ножек всякий раз, когда приходилось удовлетворять желание кого-либо из своих гостей. Вино было хорошее, по крайней мере по вкусу испанца, кушанья вдоволь приправлены перцем. При этом хозяин не допускал к себе посетителей других национальностей, выказывал большую преданность католичеству и так назидательно говорил об испанской королевской власти и ее неограниченном могуществе, что суровые воины короля Филиппа чувствовали здесь себя совершенно как дома и были готовы поклясться, что ни один настоящий испанец не мог бы так отлично принимать и угощать их.

Это было большое здание, заключавшее в себе несколько дворов и гораздо больше комнат, чем это казалось снаружи. Естественно, что в таком доме, который примыкал к нескольким улицам, были разные входы, двери и калитки, служившие, по объяснению хозяина, для доставки провизии, впуска прислуги и всех тех, с кем у него были деловые отношения; большая же дверь с передней стороны оставалась дань и ночь открытой для господ испанцев.

Как-то раз поздно вечером в одну из задних калиток неслышно вошли два человека, плотно укутанные в плащи, воротники которых скрывали их лица, и с надвинутыми на глаза шляпами. Первый из них открыл калитку имевшимся у него ключом, прошел, дал знак другому следовать за ним и затем снова тщательно затворил калитку. После этого он взял за руку своего спутника и провел его через длинный, темный коридор к другой двери, которая была тоже заперта. Отомкнув ее, они очутились в небольшой комнате. Тут было совсем темно, ибо окна были закрыты ставнями, словно бы для того, чтобы не пропускать ни малейшего света, к тому же еще и занавешены густыми темными драпировками. Но одному из этих посетителей обстановка, как видно, была знакома, ибо он скоро отыскал и зажег свечу, и тут оказалось, что в комнате не было недостатка в скромной домашней утвари. Вошедшие стояли друг против друга, и второй воскликнул:

– Что же вы, милостивый государь? Требовать от человека, чтобы он следовал за незнакомцем в такое место и в такую пору – значит, требовать слишком многого, и к этому побудили меня только слова, которые вы мне шепнули на ухо, когда я вышел из ворот ратуши. Поэтому я снова спрашиваю вас именем того же брата Иеронимо – кто вы и что вам нужно от меня?

Тот, к кому обращались эти слова, помедлил еще немного, потом сбросил с себя плащ и шляпу, повернул лицо к свету, и его спутник увидел перед собой стройную, красивую фигуру в простом испанском платье.

– Неужели ты не узнаешь меня, Алонзо де Геррера? – спросил он.

Тот долго всматривался в молодого человека, как в знакомое, но успевшее забыться лицо, и наконец, очевидно, вспомнив, воскликнул с непритворным изумлением:

– Как! Верить ли глазам? Это ты? Ты, Тирадо, друг моей юности, Тирадо?

– Да, это я, – коротко, но со значением ответил он. При этих словах Алонзо перестал сдерживаться, кинулся в раскрытые ему объятия, обхватил руками шею друга, целовал и прижимал его к себе.

– О! – говорил он. – Я предчувствовал это. Твои слова: «Именем брата Иеронимо, следуй за мной» отозвались глубоко в моей душе. Эти слова, эти звуки – могли ли они принадлежать кому-либо, кроме моего Тирадо?..

– Мой дорогой Алонзо, как я благодарен тебе, как я счастлив, что нахожу тебя таким же любящим, таким же братски близким, как прежде!

– Да, – продолжал тот, – я в восторге, я вне себя, снова свидевшись с тобой после десятилетней разлуки. О, дай мне еще обнять тебя, мой брат, еще прижаться к твоему сердцу... Десять лет словно не существовали, время моей юности воскресло перед моей душой: мы опять сидим в одинокой келье у ног почтенного Иеронимо и внимаем его речам, открывавшим нам мысли древних мудрецов и тайный смысл святого Писания... Вспоминаешь ли и ты это время, Тирадо?

– Забудь я его, разве решился бы я позвать тебя сюда, даже заговорить с тобой?..

– Однако, – перебил его Алонзо, – в порыве моей радости я пока думаю только о себе... – Он отступил на несколько шагов и продолжал тише и тревожнее:

– Как ты очутился здесь, Тирадо? Что привело тебя сюда? И в этом костюме?.. Ты, стало быть, бежал из твоего монастыря? Оставил свой орден? Ты уже не брат Диего?

– Не произноси больше этого имени, – ответил Тирадо, – я уже не Диего... и горе мне, что был когда-то им... Я становлюсь теперь братом Диего только тогда, когда мне приходится обманывать моих смертельных врагов и избегать их сетей... Я – Яков Тирадо и никто иной.

Его собеседник слушал эти слова с некоторым ужасом. Тирадо наклонился к нему и продолжал приветливым шепотом: – А ты? Только Алонзо – и все? И если ты по-прежнему Алонзо, то неужели забыто тобой имя, которое ты сам дал себе в час священного обета? Неужели ты совсем забыл Авраама де Геррера?

Смертельная бледность покрыла лицо собеседника.

– Тише, тише, ради Бога замолчи! Как можешь ты произносить здесь такие слова и как решился ты проникнуть именно сюда, в этот притон испанских солдат, где даже и стены слышат!

– Это объясняется очень просто, – спокойно ответил Тирадо. – Кто станет искать на месте главного соборища испанцев одного из самых заклятых их врагов? Кому придет в голову подзрывать в хозяине этого трактира и его госте друзей народа в его борьбе с орудиями гнусного проклятого деспотизма? Именно здесь мне всего безопаснее, и ты можешь быть совершенно спокоен: комната эта расположена так, что подслушать нас невозможно.

Алонзо снова порывисто кинулся к другу, горячо пожал его руку и сказал:

– Бедный брат, тебе, вероятно, пришлось перенести много тяжелых невзгод; на пути между твоей кельей во францисканском монастыре Вознесения и этой темной комнатой в «Веселом испанце» встретилось, очевидно, немало такого, что обрушило на тебя бремя горя и невзгод. Расскажи мне свою историю, сердце мое открыто для того, чтобы принять в него изливания твоей души; объясни мне прямо, что привело тебя сюда и чего ты ожидаешь от меня...

Немного подумав, Тирадо ответил:

– Моя история печальна, но длинна, слишком длинна для того, чтобы я рассказал ее тебе теперь, когда каждая минута дорога. Она печальна и в то же время полна великих побед. Мне приходилось много бороться, но я постоянно одерживал верх, и именно потому ищу я постоянно новых битв, что прежние были бы бесплодны без последующих... Но Алонзо... что я хорошо знаю тебя и правильно сужу о тебе, это ты видишь из того, что я доверил тебе себя. Прежде, однако, чем открыть мою тайну, мне нужно узнать, что ты есть теперь и какие у тебя желания и намерения. Не о твоём общественном положении спрашиваю я, не о твоих взгля-

дах и занятиях – и то, и другое мне известно, иначе я ведь и не нашел бы тебя, не подстерег бы. Но мне необходимо познакомиться с твоими сокровеннейшими мыслями, с направлением, которое приняли твои убеждения, – необходимо узнать, действительно ли правдиво то лицо, с которым ты являешься перед людьми, или оно только маска? Ибо в ту страшную пору, в которую мы живем, пору ненависти и обмана, пору ужасов и лицемерия, никто не может пойти прямой дорогой без того, чтобы его нога на втором же шагу не увлекла его с собой в бездну... Кто безопасно прошел известное пространство, тот доказал этим, что двигался вперед не прямо, а всяческими окольными путями... Геррера, мы стояли рядом друг с другом, на одном вулкане. В то время, когда внутри его начало кипеть, бурлить, волноваться, ты сошел туда, а я остался наверху... И вот теперь, когда мы снова встретились, я спрашиваю тебя: кто ты? Спрашиваю прежде, чем нам пуститься вместе в дальнейший путь...

– Ты прав, Тирадо... Я чувствую, что все осталось в прежнем положении... Я не могу не подчиняться тебе... Сядем, мне придется рассказывать недолго.

И он начал:

– Ты помнишь, как в ту пору, когда мы были целиком погружены в наши занятия у брата Иеронимо, дядя мой, Мендес, вызвал меня однажды к себе, чтобы я присутствовал при последних часах его жизни и закрыл ему глаза. После этого мой опекун отправил меня в Вальядолидский университет. Я прилежно изучал право и другие науки, постоянно оставаясь в мыслях с тобой и с затаенным намерением – по окончании курса и достижении совершеннолетия поспешить к тебе и приступить вместе с тобой к осуществлению планов нашей молодости. Но это не было суждено мне. Некоторые из моих студенческих сочинений обратили на себя внимание нашего профессора. Он, как ему казалось, открыл во мне особую способность к написанию политических статей, близко сошелся со мной и стал возлагать на меня разнообразные поручения. Через некоторое время в Вальядолид приехал и стал бывать у моего профессора королевский государственный сановник Верга. Этот человек уже тогда пользовался огромным влиянием у короля и герцога Альбы, причем, однако, еще не обнаруживал того неукротимого властолюбия, той зверской кровожадности, того неистребимого коварства, которые теперь навлекли на его имя столько ненависти и проклятий. Меня представили ему, и когда он попросил профессора порекомендовать ему в секретари способного молодого человека, тот с большими похвалами указал на меня. Благодаря этому Верга лично предложил мне поступить к нему на службу. Тирадо, мне пришлось вынести несказанные муки! Предчувствие говорило мне, что в руках этого человека я сделаюсь пером, которое будут обмакивать не в чернила, а в кровь. Я отклонял от себя эту честь, я не соблазнялся всеми теми картинами честолюбия, которые эти люди рисовали мне, наконец я даже прямо отказался. Тогда мой профессор по секрету объяснил мне, каким опасностям подверг бы я себя в том случае, если бы упорствовал в моем отказе. Верга, по его словам, не такой человек, чтобы оставлять ненаказанным неприятие его предложений; всем известно, что я внук новохристианина-мarrрана – а уже одного этого достаточно, чтобы обречь меня темницам и пыткам инквизиции; поэтому мне следует преодолеть себя и покориться. После таких доводов у меня уже не оставалось выбора. Я скоро вообразил себе, что это – зов моей судьбы и что в моем новом положении мне будет возможно препятствовать осуществлению многих пагубных замыслов и решений или, по крайней мере, ослаблять их. Напрасная мечта! Верга не из тех людей, которыми руководят и правят другие, и его глаз так бдителен, так все видит, что совершается вокруг него, что я не должен никогда обнаруживать ни малейшей слабости, ни малейшего колебания, ни малейшего движения нерешительности, если не желаю немедленно погибнуть. Единственный подозрительный шаг – и моя смерть неизбежна. В таком-то положении служу я этому зверю уже пять лет и должен был последовать за ним и сюда. Посмотри на меня, брат, и ты увидишь во мне большую перемену. Румянец молодости давно сошел с моих щек, взгляд мой мрачен, губы разучились улыбаться. Житейская школа тяжела.

Тирадо обнял друга и энергично воскликнул:

– Да, это правда, Алонзо, но мы должны закалить себя в ней, сделаться сами тверды, как железо, которое из яркого пламени молодости погружают в ледяную воду! И поэтому прочь всякие сомнения и всякое недоверие! Я тоже откровенно скажу тебе, чего я желаю и в чем ты должен помочь мне!

Он вскочил и стал ходить по комнате. Потом остановился перед другом, посмотрел на него сверкающим взглядом и поспешно заговорил:

– Алонзо, я желаю... начать борьбу с инквизицией – я, отец и мать которого, благороднейшие люди на свете, погибли на костре инквизиции в то время, когда я еще лежал в колыбели; я, единственная сестра которого, чистейшее, лучезарное создание, умерла в инквизиторской тюрьме; я, которого эта инквизиция в ту пору, когда его мыслительные способности находились еще в младенческом состоянии, осудила стать монахом; я, который будучи просветлен словами моего учителя о нечестивости творящихся дел и проявив внутренний жар своей души несколькими невинными словами, подвергся неумолимому преследованию так называемого священного судилища и только чудом спасся от участи, постигшей всех моих близких... Да, я хочу зажечь всемирный пожар, который погубит это гнусное чудовище!

Собеседник Тирадо тоже привстал и с глубоким удивлением посмотрел на друга, говорившего столь твердо и спокойно, сколь пламенно и восторженно; но в его взгляде таился скептический вопрос: «Да, все это возвышенно и мощно – но кто же ты, слабый одинокий человек, чтобы сметь рассчитывать на успех там, где противником твоим будет великая мировая сила? Но Тирадо, словно угадав мысли друга, продолжал: – Я знаю, эта борьба для меня – борьба не на жизнь, а на смерть; но кому приходится смотреть в глаза смерти столь же часто, как и мне, того она перестала приводить в ужас. Я знаю, что восстаю не только против этих черных ряс и замаскированных лиц, не только против подземных темниц и таинственных судилищ, но кто бы ни были мои враги – король или герцог, соотечественник или чужеземец, какими бы цепями, какими бы клятвами ни был связан я с ними, – я разорву их, потому что эти люди разорвали мое сердце и разрывают священные узы, созданные самим Богом. Я знаю, что выступаю против великой, неограниченной силы, которая располагает храбрейшими войсками, в распоряжении которой сокровища обеих Индий... но, Алонзо, восходил ли ты когда-нибудь на снежные вершины Пиренеев? Там случается иногда, что порыв ветра, громкий звук или нога коршуна отделяют небольшой ком снега от покато́й скалы, он летит вниз и увлекает за собой снежные массы – и они все более вырастают и мчатся все быстрее и быстрее, сметая все, что встречается у них на пути, навеки погребая под собой все, что находится там, внизу... Алонзо, я хочу быть этим порывом ветра, этим звуком, ногой этого коршуна, и пустить вниз маленький ком снега так, чтобы он, разрастаясь в страшную лавину, разрушил и похоронил под собой гордое и ужасающее здание инквизиции!

Геррера по-прежнему не спускал глаз с друга, говорившего все с большей уверенностью, с торжествующей улыбкой на тонких губах.

– Мое решение, и решение непоколебимое, принято уже давно, и теперь я готов сделать первый шаг, – продолжал Тирадо после небольшой паузы. – Слушай, Алонзо. После того, как ты уехал от нас, я прожил у нашего почтенного наставника еще год. За последнее время у меня не осталось уже никаких сомнений относительно того, чего он хотел добиться от нас. Он никогда не высказывал нам этого, никогда не обозначал определенно цели, к которой вел нас, никогда не утверждал, что есть истина. Он предоставлял нам возможность самим искать ее, и в то же время, чтобы узнать, способны ли мы найти ее, заставлял нас работать, испытывал наши силы. Он сопоставил перед нами учения христианской церкви, содержание Нового завета и то, что заключено в Ветхом, и сказал: будьте сами исследователями и судьями. Он ввел нас в аудитории греческих мудрецов, открыл перед нами мир их понятий для того, чтобы мы, сравнив все эти творения человеческого ума, выработали в себе то или иное убеждение.

При этом он знакомил нас с историей народов, в частности, того чудесного народа, который Господь избрал для истины, историей его веры, историей христианства до наших дней – дней папства и инквизиции... Тебе знакомо все это, ты знаешь, какое потрясение испытали мы, когда услышали из его уст, что оба мы – из племени Иуды, что мы внуки людей, у которых не хватило мужества и самопожертвования для того, чтобы предпочесть скитальчество в дали от жестокого отечества отречению от того, что было для них единственной непреложной истиной, и преклонению перед тем, что их сердце решительно отвергало, – людей, которым, однако, пришлось впоследствии искупить эту измену самыми тяжкими бедствиями, тюрьмой и смертью, потому что инквизиция воспользовалась двусмысленностью их положения и нашла в нем предлог для того, чтобы завладеть их имуществом, отнять у них жизнь. Ты помнишь, Алонзо, какое действие произвело это открытие на наши умы и какой обет был дан нами. Но не прошло с тех пор еще и года, как брат Иеронимо, проживший на свете почти восемьдесят лет, стал все больше ослабевать и приближаться ко гробу. Я день и ночь сидел у его смертного одра. И вот однажды, в полночь, он пробудился от короткого, тревожного сна, схватил мою руку и тихо сказал: «Диего, подвинься ближе ко мне, час наступил; прежде чем отойти в вечность, мне надо рассказать тебе еще многое, что ты должен узнать, что не должно остаться похороненным со мной в могиле. Я обязан это сделать, ибо наше время изменчиво: быть может, пора терпения, молчаливой покорности прошла, и наступает пора войны за Бога и истину. Слушай же!» И он стал говорить, а я – жадно слушать. Сперва старик рассказывал о самом себе. Он был еще совсем ребенком, когда закон 12 марта 1492 года изгнал евреев из испанских владений. Его родители, как ни глубока была их преданность вере отцов, не могли решиться последовать за теми толпами своих соплеменников, которые с плачем и стонами садились на корабли, уносившие их в далекие, неведомые страны... Вскоре после этого Фердинанд и Изабелла вложили меч в руки инквизиции, и тут-то эти новохристиане узнали, что к их личностям церковь совершенно равнодушна, имуществом же их она и государство дорожат в очень сильной степени. Инквизиция основательно предположила, что эти люди неискренне преданы своей новой религии, и это было вменено им в заслуживающее смерти преступление. Родители Иеронимо шагнули еще дальше и, чтобы избавиться себя от малейших подозрений в фальши, передали своего единственного сына в руки церкви, и Иеронимо сделался монахом. Его дальнейшее воспитание, обстановка и занятия с течением времени уничтожили следы того, чему он учился, к чему привык с детства, и он стал тем, кем должен был стать. И вот, уже в более зрелые годы, когда опыт многому научил его и во многом разочаровал, случилось ему однажды зайти в большую, великолепную церковь Сан-Бенито в Толедо. Внимательно рассматривая ее внутренне убранство, он заметил на стенах много еврейских надписей, сделанных здесь набожными руками еще в ту пору, когда эта церковь оглашалась молитвами евреев. Эти позолоченные буквы чудно светили ему из полутьмы, чудно шептали ему что-то в глубокой тишине, царившей в этом староеврейском храме. Ему чудилось, что они говорят ему: «Понимаешь ли ты еще нас, можешь ли ты по-прежнему разобрать нас, узнать наше содержание? И если можешь, то скажи – истина ли заключается в нас или ты тоже считаешь нас обманщиками?»

И разом воскресло в нем все то, что детские годы, с их неизгладимыми впечатлениями, поселили в одном из сокровенных уголков его духа; словно чешуя спала с его глаз – ведь эти самые слова, знаки, мысли, блестящие перед ним на стенах храма, светили ему и в его сердце, такие же золотые и неизгладимые... С этой минуты он уединился в своей келье для созерцательной жизни, думал, исследовал – и пришел к твердому убеждению. Таким вот образом он и сделался нашим учителем. И тут он открыл мне всю судьбу нашего семейства, моих родителей, моей сестры, мою собственную, и окончив рассказ, промолвил: «А в заключение узнай все: я двоюродный брат твоего отца, и ты – мой милый племянник...» С этими словами он дрожащей рукой привлек меня к себе, поцеловал, благословил – и умер... Алонзо, в эти минуты, когда старик изобразил мне мою судьбу, и еще более – когда он познакомил меня с ужасной

историей моих родителей и моей сестры – я поклялся посвятить борьбе с инквизицией каждый свой вздох, каждый час моего существования и всю силу моего духа и моей руки... И это не только для того, чтобы искупить вину моих предков и отомстить за постигнувшую их судьбу, не только для того, чтобы снова соединить разбросанных по свету моих соплеменников и получить возможность открыто и беспрепятственно исповедовать мою веру, – но еще более для спасения человечества от этой язвы, которая крадется в темноте и убивает при свете дня... А теперь, Алонзо, скажи – хочешь ли ты помогать мне? Хочешь ли ты быть моим сообщником всюду, где я встречу тебя на моем пути?

Речь Тирадо воспламенила впечатлительное сердце его друга, внимавшего ей со страстным напряжением. Глаза его сверкали, на впалых щеках горел яркий румянец. Он поднял руку как бы для торжественного обета, но Тирадо сделал предупреждающий жест и продолжал:

– Нет, Алонзо, этого не надо, не клянись ни в чем; твоего простого обещания, выраженного взглядом или пожатием руки, с меня достаточно. Я нахожусь в самых тесных сношениях со многими тайными патриотами. Но лучшие средства помощи, истинные орудия полезной деятельности мне представляются в самом лагере моих врагов. Только я не имею права скомпрометировать первых, уже хотя бы потому, что я должен сохранить их при себе – всю опасность я беру исключительно на себя. Пятерых испанских солдат я уже успел привлечь на свою сторону, из них двое служат телохранителями герцога. Они марраны по происхождению, люди дикие, но их фамильные традиции и щедрые денежные выдачи – те рычаги, которые переманили их на мою сторону.

– Чем же, друг мой, я могу быть тебе полезным и содействовать великому подвигу твоей жизни? – воскликнул Алонзо в пламенном порыве.

– Присядем снова, чтобы спокойно обсудить положение вещей и подумать, какие меры необходимо употребить нам... Расчеты деспотизма, Алонзо, в конце концов всегда оказываются просчетами, потому что они имеют в виду только самое близкое будущее. Альба и его сподвижники думают, правда, не без оснований, что ужас, повсюду вызванный казнью стольких дворян, особенно графов Эгмонта и Горна, сильно ослабил энергию нидерландской оппозиции; победа же при Геммингене над графом Людовиком Нассауским, равно как и то обстоятельство, что Альбе удалось принудить принца Оранского к отступлению и роспуску своих войск, до такой степени, по его мнению, убили все надежды в жителях здешней страны, что они с этих пор уже навсегда в его руках. Но в этом он ошибается. Еще один шаг – и ужас заступит место отчаянию, боязливая неподвижность – безумной смелости, и тогда-то, собственно, и возгорится борьба, которая рано или поздно сокрушит королевскую власть, потому что она принуждена добывать свои вспомогательные средства из очень отдаленных мест. Недавно я узнал, что Альба хочет воспользоваться периодом мертвого затишья, чтобы поставить свои гарнизоны во всех главных городах и крепостях. Никто не посмеет затворить перед ним ворота, и таким образом он надеется за один раз сделаться неограниченным властителем Нидерландов. Вот что мне известно, Алонзо, и вот чего нельзя допустить ни в коем случае. Поэтому мне нужно узнать от тебя, что намереваются сделать испанские палачи прежде всего, как скоро перед ними отворятся ворота городов их рабов? Я убежден, что это решение уже теперь принято ими, ибо корыстолюбие и жадность не в состоянии сдерживать себя, и их руки трясутся от страстного желания поскорее схватить добычу. И тебе, секретарю Верги, дело должно быть известно во всех подробностях.

– К чему же послужили бы они тебе?

– Мне необходимо знать их из достоверного источника, чтобы сообщить затем во все города и таким образом дать им возможность приготовиться к сопротивлению, не впускать гарнизоны – и вызвать взрыв борьбы. Это зажженный факел, который я хотел бы бросить в пороховую мину недовольства, страсти, ненависти!

– Яков, ты сообразил все со страшной основательностью, и дело находится действительно в таком положении. Распределение войск по городам уже решено; через три дня все отряды разом выступят в поход и станут занимать заранее отведенные для них места. Командиру каждого отряда будут даны три запечатанных пакета с приказанием вскрыть их и обнародовать, как скоро гарнизон будет размещен. Документы эти уже заготовлены, контрастированы Вергой и поданы герцогу на подпись.

Тирадо радостно вскочил с места:

– И ты можешь сообщить мне их содержание?

– Конечно. Первый восстанавливает указы Карла V, в силу которых ни в одном городе, ни в одном местечке, ни в одном селе не может быть терпим никто, кроме самых искренних приверженцев католической церкви; поэтому повелевается в течение известного срока изгнать всех отступников этой церкви и их священников, уничтожить места их сборищ, во всех церквях восстановить католическое богослужение – и все это под страхом наказаний, которые уже тоже определены. Вторым из них окончательно вводится инквизиция, отдаются в ее распоряжение все гражданские власти и военные силы и повелевается, чтобы всякое сопротивление ее мерам было наказываемо смертью и конфискацией имущества. Наконец, третий устанавливает новый страшный налог: в вознаграждение за жертвы, принесенные королем для наказания бунтовщиков, со всякого движимого и недвижимого имущества имеет быть взимаем двадцатый, и движимого – десятый процент. Этими мерами герцог надеется обогатить короля, себя и своих креатур и в то же время совершенно истощить и поработить народ.

Не успел Геррера произнести последние слова, как Тирадо разразился выражениями безмерной радости, почти необузданного восторга. Он поднял руки и воскликнул:

– Господи, кого Ты хочешь погубить, того ослепляешь!

Потом, снова успокоившись, схватил руку друга и продолжал:

– Хорошо, Геррера! Эти декреты должны быть в моих руках; я должен найти их, как скоро они будут подписаны герцогом. Да, пусть они дойдут до тех городов, для которых предназначены, пусть обнародуются согласно желанию Альбы – но только это должно случиться несколько раньше, чем он назначил. Что нам предстоит сделать – это ясно и просто. Алонзо, я сам извлеку их из кабинета герцога. Ты обстоятельно опишешь мне где располагается этот кабинет и каким образом в него можно проникнуть. Сам ты должен держаться в стороне и в то же время продолжать свои обычные занятия на глазах этих кровожадных зверей. Я полагаюсь на мою судьбу и мою ловкость. Да, это будет наша первая великая победа!

Алонзо молчал. Предприятие друга казалось ему безумно-отважным, невыполнимым, с весьма ничтожной надеждой на счастливый исход. Но Тирадо уничтожил все сомнения и опасения непоколебимой твердостью своей воли, своей решимостью. Он пришел к убеждению, что будущее зависит от этой минуты, что опасность неудачи усилит опасность положения и что единственной жертвой этого отважного шага делается один он – никто кроме него. Видя такую твердость, Алонзо перестал колебаться и уже определеннее обещал свою помощь.

Друзья еще долго совещались о преимуществах этого плана и средствах его выполнения. Затем Тирадо загасил свечу, и оба, тщательно укутавшись в плащи, пробрались на улицу, где немедленно расстались, не простившись друг с другом» ни единым словом, ни одним пожатием руки.

IV

Королевский замок в Брюсселе, после того, как Альба въехал в него, был приноровлен к потребностям и целям нового хозяина. Весь нижний этаж огромного здания превратили в казарму, в которой телохранители герцога пребывали постоянно, а части гарнизона – поочередно. Первый этаж состоял из гостиных и парадных апартаментов, в которых происходили торжественные приемы, и из нескольких отделений канцелярий; на втором этаже размещались частные комнаты герцога и его тайный кабинет; прислуге и нескольким чиновникам, которых герцог желал иметь всегда у себя под рукой, были отведены для жительства верхние мансарды. Все здание в длину и по всем этажам было перерезано широким коридором, отделявшим передние комнаты от выходивших во двор, и этот коридор пересекали в нескольких местах узкие проходы. В первые два этажа вела великолепная парадная лестница, а в мансарды – черная лестница, устроенная в расположенной на дворе башенке; отсюда существовали входы и во все остальные этажи, но в настоящее время эти двери были забиты наглухо. Таким образом, верхние комнаты находились под постоянной охраной снизу, а в главном коридоре в разных местах были расставлены часовые.

В числе союзников Тирадо был человек, в молодости занимавшийся расписыванием потолков и поэтому приобретший некоторые познания и навыки в живописи. Одна скверная штука заставила его бросить это занятие и поступить в войско испанского короля. Благодаря этому человеку, Тирадо получил план дворца во всех его мельчайших подробностях и изучил их так основательно. Он видел своим живым воображением все уголки так явственно, как будто уже давно жил там.

Другой солдат, тоже сообщник Тирадо, притворился заболевшим в ту самую ночь, которой произошло только что описанное тайное свидание с Геррерой – и притом заболевшим так сильно, что на следующее утро ему понадобилась помощь францисканского монаха брата Диего. А так как в испанской армии привыкли немедленно удовлетворять всяким требованиям набожности, то благочестивый монах, поселившийся на время своего пребывания в Брюсселе в «Веселом испанце», был призван во дворец, к одру больного солдата. Здесь Тирадо сыграл свою роль, довольно легкую для него вследствие привычки, так хорошо, что вся набожная стража, начиная с солдат и кончая офицерами, нашла для себя в этом знакомстве много назидательного и отнеслась к благочестивому францисканцу с величайшим уважением. Таким образом Тирадо, благодаря рясе, в которую он снова облачился получил возможность довольно свободно ходить по замку, причем, однако, он тщательнейше избегал малейшего подозрительного движения. Тем легче было для Герреры сообщить ему тайком известие, что декреты в этот же самый день были подписаны герцогом, а на следующий день будут запечатаны, и что поэтому нынешняя ночь – единственный момент, когда можно похитить эти документы. Тирадо несколько не скрывал от себя трудностей и опасностей этого предприятия, точно так же как и многих случайностей, которыми оно могло сопровождаться. Но он знал, что тут ставилось на карту, знал, какую великую важность имела эта минута для судьбы Нидерландов и, следовательно, для того дела, которому он посвятил всю свою жизнь. И притом, разве участь дорогих людей, оставленных им во враждебном и жестоком отечестве, не была связана с делом свободы так тесно, что без победы этой свободы их гибель могла считаться несомненной? При мысли обо всем этом, ни малейшего колебания не ощущал он в своей душе, и думая о гибели, быть может, ожидавшей его, только крепче прижимал к груди острый кинжал, спрятанный под власяницей монаха.

Наступила полночь. Все приготовления, какие оказались возможными, были сделаны. Один из солдат-заговорщиков во время своего дежурства успел отодвинуть засовы на двери, которая вела с черной лестницы на второй этаж. Францисканский монах провел несколько

часов в низу этой лестницы, в темном уголке. Теперь, когда во всем замке воцарилась глубочайшая тишина, он в своих войлочных туфлях неслышными шагами поднялся вверх, отворил дверь и вошел в темный маленький коридорчик, примыкающий к задней стороне герцогских комнат. Здесь предстояло монаху перейти через главный коридор, который был освещен несколькими лампами и по которому медленно расхаживал взад и вперед часовой. Тирадо оставался в темноте маленького коридорчика до тех пор, пока солдат не повернулся и не направился к другому концу. Тирадо быстро перебежал через коридор и очутился на другой стороне. Здесь он нащупал с левой стороны дверь; ключ от нее, сделанный по восковому оттиску, находился в его руках. С невыразимой осторожностью повернул он этот ключ в замке, чтобы не вызвать ни малейшего звука – и через секунду дверь была открыта. Тирадо находился теперь в темной комнате, служившей герцогу библиотекой. До сих пор все шло благополучно. Он знал, что прямо против этой двери была другая, незатворенная, которая вела непосредственно в кабинет Альбы. Он скользил вперед шаг за шагом, нащупывал путь перед собой, чтобы не натолкнуться на какую-нибудь вещь, и скоро добрался до двери. Он приложил ухо к замочной скважине: в комнате не было слышно ни малейшего звука. Он внимательно всматривался во все щели – нигде никаких признаков освещения. Радостно забилося сердце Тирадо, и из уст его вознеслась к небу короткая благодарственная молитва. Неужели он так быстро и благополучно достиг цели своих желаний? Но на самом деле этого еще не было. Едва он нажал ручку двери, и она немного приоткрылась, как из темноты ударил в него луч света, и тут он увидел, что кабинет освещен. А если он освещен, то есть, вероятно, и люди? Но Тирадо не растерялся, и если должен был мгновенно сделать несколько шагов назад, то желал по крайней мере узнать причину. Шума по-прежнему не было никакого. Он ждал минута за минутой – но ничего не слышал. Поэтому он растворил дверь немного шире, просунул голову и принялся внимательно обводить глазами комнату. Скоро он смог убедиться, что тут не было ничего, кроме шкафов и конторок по стенам, нескольких стульев и посередине – большого письменного стола, заваленного бумагами, на котором горели теперь две свечи и перед которым стояло большое кресло, повернутое к Тирадо спинкой. Дальнейшее обозрение открыло ему, что в кресле сидел человек, причем падавшая от него тень свидетельствовала, что голова этого человека была склонена на левую сторону. Тирадо еще несколько минут наблюдал за этой фигурой и убедился, что перед ним спящий. Теперь он решился совсем открыть дверь, проскользнул в комнату и, держа кинжал в правой руке, приблизился к спинке кресла. Он медленно приподнялся на цыпочках и через спинку взглянул в лицо спящего... Это был сам герцог... Он занимался здесь подписанием декретов и, вероятно, окончив это занятие заснул. Домашняя шапочка была глубоко надвинута на высокий, морщинистый лоб и закрытые глаза, чем предохраняла их от света свечей. Видны были только решительные черты бледного лица и плотно сомкнутые губы, которые, в минуты радости и горя, торжества и страха, оставались одинаково неподвижными, точно они принадлежали вылитой из бронзы голове с ее орлиным носом и выдающимся подбородком с острой бородой. На нем было легкое домашнее платье, раскрывшееся на груди. Тирадо смотрел, и самые разнообразные чувства шевелились в нем, поднимали бурные волны в его душе до такой степени, что он на несколько минут почти потерял сознание...

Перед ним полулежал этот победитель тысячи сражений, одинаково способный управлять битвами и избегать их, но несмотря на это, все-таки одолевая врага, одинаково готовый обрушивать на голову своих противников секиру палача и меч храбрых воинов; полулежал этот бич инквизиции и испанского деспотизма, кровожадный гонитель всех, желавших свободно дышать и свободно думать на этой земле... Если бы тени всех тех, которых он умертвил, замутил пыткой, заморил в темнице, всех тех, стоны которых, благодаря ему, вознеслись на небо, а слезы оросили землю – если бы эти тени собрались теперь вокруг его кресла, какой образовался бы неисчислимый сонм страдальцев с зияющими ранами, разбитыми сердцами, изуродованными телами! И если бы все города, сожженные им, все провинции, им опустошенные,

все произведения человеческого труда и человеческой любви, уничтоженные его рукой, стояли теперь перед его душой и кидали ему в лицо свои имена – каким адским громом гремели бы эти голоса!.. А между тем он безмятежно покоился в своем кресле... не подозревая, что к его груди все ближе и ближе подбирался острый кинжал.

«Убей его! – звучало в сердце монаха, – и ты одним разом отомстишь за всех их – твоего отца и твою мать, твою сестру и твоего дядю, всех, всех, замученных до смерти им и его адским судилищем. Убей его – и их погибель будет искуплена его ядовитой кровью».

Он занес руку... «Не убей! – воскликнул в нем другой голос. – Божеское правосудие покарает тебя за это! Ты хочешь впервые окунуть свою руку в кровь? Посредством хитрости проник ты в его комнату, чтобы завладеть его собственностью, и вот готов так же коварно отнять его жизнь – отнять ее у безоружного, спящего, чтобы он отправился на тот свет, не покаявшись в своих грехах! Если Господь в своей благодати посылает ему сон, если Он позволяет этой преступной душе покоиться тихо и безмятежно, то не твое дело лишать его жизни!»

«Убей его, – снова вопияло в нем, – зачем ты медлишь? Ты, готовящийся зажечь пожар, который уничтожит тысячи людей, похоронит под своими развалинами несколько стран – ты колеблешься в убийстве этого одного?.. Удар – и все, кому еще предстоит погнубить от его топора, попасть под его ярмо и в его оковы, спасены, и страна свободна, и все ликуют!»

«Не убей! – слышал он другое. – Какая в том польза? Испанский тиран пришлет такого же кровожадного пса, какого-нибудь Реквезенса, д'Аустрию, Парму – и взрыв той борьбы, которая должна начаться во что бы то ни стало, отсрочится на неопределенное время, потому что с убийством этого злодея ненависть к нему исчезнет, а его преемникам еще придется заслуживать ее...»

Такие мысли с быстротой молнии проносились в голове Тирадо, боролись одна с другой... Как в первую минуту, когда он внезапно увидел перед собой герцога, и им овладел тот страх, который вызывается простой близостью великого, пусть и страшного человека – так и теперь он неподвижно стоял за его креслом, только глаза его грозно вращались, и вооруженная рука то поднималась, то опускалась, смотря по тому, какое решение он хотел принять – между тем, как из груди его противника дыхание исходило спокойно. Мало-помалу волнение стихло и в груди Тирадо, и он чуть слышно прошептал: «Я не могу, я не хочу убивать спящего; раскаяние в этом преступлении осталось бы навеки неразлучным со мной!»

После этого он без колебаний приступил к делу. Медленно, по-прежнему неслышно, как тень, но и по-прежнему не спуская глаз и приставив кинжал к груди герцога, чтобы пронзить его при первом признаке пробуждения, он обошел кресло, приблизился к столу, уверенной рукой схватил всю кипу бумаг, быстро спрятал их под своей монашеской рясой, сделал шаг назад, еще раз остро взглянул на спящего врага и положил кинжал на стол. Через секунду он уже был позади кресла, затем чуть слышно пересек комнату, закрыл за собой дверь, прошел через темную библиотеку и старательно запер другую дверь. Тирадо выждал в тени коридора, пока мерно шагающий часовой не повернулся к нему спиной, проскочил это место, отодвинул засов двери, ведущей на лестницу, и быстро спустился вниз. В ночной темноте он пробрался через двор к одной из калиток в задней части здания. Здесь его ожидал солдат, который через темную галерею вывел его на улицу – и вот монах на свободе со своей бесценной добычей...

Прошел час, другой – герцог очнулся ото сна. В первую минуту ему трудно было прийти в себя, сообразить, где он и что с ним. Наконец, это ему удалось; он огляделся и вспомнил, что он в своем кабинете, что уснул в своем кресле... и, вероятно, долго проспал, потому что свечи почти догорели... Это напомнило ему о занятии, оконченном перед этим, напомнило, как он поставил свое имя под многими документами, как положил перо... Но вот глаза его упали на письменный стол... Стол пуст... а на том месте, где были бумаги, лежал острый кинжал, зловеще сверкающий ему в глаза.

– Что это значит? – вскричал он, быстро вскочив – Кто был здесь? Кто унес бумаги? Кто положил кинжал? – Ужас охватил все его существо, сбил дыхание. – Воры и убийцы около меня! – Ибо он ни на миг не усомнился, что бумаги были унесены не чиновником, которому было поручено сложить и запечатать их, а тем, чья рука положила на их место кинжал.

Что было делать? Герцог Альба был не из тех людей, которых сильный испуг может надолго заставить растеряться. Не только на поле сражения встречался он лицом к лицу со смертью; уже три раза удалось ему спастись от руки убийцы; однажды – это было в Нимвегене – под его спальню уже успели заложить пороховую мину, которая должна была поднять его на воздух; но постоянно Промысл Божий спасал его. Мужество и на этот раз не изменило ему; холодный, расчетливый ум скоро снова вступил в свои права. Следует ли поднимать шум, производить расследование, начинать розыск? Почти сгоревшие свечи доказывали, что это сделано уже несколько часов назад, а тот, у кого хватило ловкости и смелости проникнуть сюда и совершить это похищение – он, конечно, окажется достаточно смелым и ловким для того, чтобы оградить себя от всяческих преследований. Герцог взял одну свечу и меч, стоявший в углу кабинета, прошел в библиотеку и осмотрел ее, увидел, что дверь заперта, отворил ее, прошел в коридор, спросил часового, был ли здесь кто-нибудь, и получил отрицательный ответ. Благодаря своей необычайной памяти, слава о которой сохранилась даже в истории, герцог знал солдата, стоявшего на часах перед его комнатой, очень близко и был убежден в его верности и благонадежности. Он вернулся в кабинет. По трезвому размышлению он решил предоставить дело собственному течению. Если бы, – рассуждал он, – это происшествие сделалось известным, оно доставило бы удовольствие его врагам и завистникам, и вместе с тем послужило бы фактом его слабости, который поощрил других злодеев. Скрыв же его, он мог тем старательнее наблюдать за окружающими его людьми, ибо между ними, конечно, находились соучастники этого преступления; не далее, как завтра утром – решил герцог – будет составлен список всех, живущих в замке, и произойдет чистка его от мало-мальски подозрительных личностей. Что же касается до вредных последствий, которые должно было повлечь за собой похищение бумаг – то устранить их не было возможности. За похищением несомненно предстояло совершиться преждевременному обнародованию документов, а не допустить до этого можно было только скорейшей посылкой войск. Но это представлялось едва ли исполнимым. На следующее утро ожидалось прибытие сына герцога, Фердинанда Толедского, с тремя тысячами человек. Им необходимо было дать хотя бы день отдыха; к тому же провиант и обозы были еще не совсем готовы. По крайней мере три дня требовалось на окончательное устройство этих дел. Но герцог успокоился. Он возлагал надежды на страх и ужас, распространенные им повсюду; на отсутствие ожидания всякой помощи извне, так как принц Оранский блуждал без войска по Германии; на слабость граждан, которые не решились бы восстать, опасаясь за это лишиться жизни, – все это казалось герцогу слишком достаточной гарантией от бунта. Больше всего его тревожил сам поступок. Вооружившись кинжалом, похититель проникает в его кабинет, застаёт его спящим и ограничивается тем, что уносит бумаги и оставляет на столе кинжал только в виде предостережения! Седые волосы все-таки немного приподнимались на голове хладнокровного человека, когда он думал о смертельной близости неведомой руки и острой стали, на произвол которых была отдана его жизнь в продолжение нескольких минут. Почему этот человек не нанес удара? Герцог слишком привык ни во что не ставить жизнь своих врагов и удовлетворять свою мстительность их смертью, чтобы понять чувства человека, думавшего и действовавшего иначе, человека, бравшегося за оружие только для защиты от беспримерного тиранства.

Но это беспокоило герцога лишь до той минуты, пока необходимость действовать не заставила забыть о нем. Альба тотчас потребовал к себе секретаря и приказал еще рез подготовить декреты; сам же он немедленно принялся за усиление до последней возможности бдительности расположенных в стране гарнизонов и об ускорении рассылки отрядов по провинциям.

Но часы, прошедшие во всех этих приготовлениях и занятиях, уже были с пользой употреблены другой стороной. Как только Тирадо оказался вне замка, он совершенно перестал тревожиться за свою безопасность. Помощники, набранные им в народе из ожесточеннейших и решительнейших людей, равно как и большие денежные средства, находящиеся в их распоряжении, доставили ему возможность сделать все необходимые приготовления, долженствовавшие привести дело к благополучному исходу после того, как ему самому удалось бы удачно уйти со своей добычей из пещеры льва. В сопровождении двух встретивших его заговорщиков он быстро прошел по улицам и переулкам города и через некоторое время был уже в соседнем местечке Лекен. Отсюда, задолго до рассвета, тридцать курьеров были отправлены им к бургомистрам разных городов с копиями документов, засвидетельствованных подписями Альбы и Верги, и с просьбой обнародовать их, действовать как можно быстрее и спасти страну от грозившей ей гибели.

Результат оказался вполне таким, каким его ожидал увидеть Тирадо. Новая мера правительства словно громом поразила нидерландцев. Тут попирались, уничтожались их кровные интересы. Как?! Уже столько десятилетий постановления Карла V оставались бесплодными, уже столько регентов тщетно старались восстановить их, наперекор им большая часть Нидерландов приняла новое учение, целые города и провинции вполне принадлежали реформаторской церкви – и вот теперь эти декреты снова восстанавливаются, и испанская инквизиция со всеми ее ужасами и неограниченной властью вводится как верховное судилище! Нет, это невозможно! А вдобавок ко всему новый налог, взимание сотого, двадцатого, десятого процентов? Да разве это не равносильно уничтожению всякой торговли, внутренних и внешних связей? Невозможно! Но если бы и действительно было невозможно ни то и ни другое, то разве не был соединен с этими мерами целый ряд ябед, процессов, штрафов, конфискаций, ссылок, всяческих беспорядков и смут? Разве не уничтожались этим за один раз всё льготы и права отдельных штатов?

Деспотизм всегда заходит слишком далеко за пределы своей цели. Пускай он свои стрелы одну за другой не так стремительно и беспощадно – каких неизмеримо успешных результатов достигал бы он в борьбе с эгоистичной, неорганизованной и трусливо-малодушной толпой! Но он слишком уж рассчитывает на внушаемый им и сокрушающий всякую силу ужас; он убежден, что стоит ему появиться во всей своей силе, во всем своем грозном величии, как наступит окончательный конец всякому сопротивлению. Но тут-то он и ошибается. Ужас переходит в отчаяние, в убеждение; что здесь речь идет о жизни или смерти; а где предстоит потерять или выиграть все, там прекращается всякое колебание, там всякое сердце становится героически страстным, там всякая рука вооружается. Так было и в Нидерландах. Огненным потоком пронеслась из города в город, из деревни в деревню, с корабля на корабль весть о декретах Альбы. Чины собрались для того, чтобы протестовать; города затворили свои ворота, принялись улучшать свои укрепления, вооружали стены орудиями, расставляли солдат. И так поступали не только большие города, но и самые малые, в огромном количестве. Отряды Альбы встречали отпор во всех городах, к которым подходили они, и скоро должны были убедиться, что занятие ими этих мест может совершиться только посредством насилия и после упорной битвы. Особое сопротивление выказывали Голландия и Зеландия, куда так и не смог войти ни один испанский гарнизон. В это же время двадцать четыре корабля морских гезов под флагом принца Оранского вошли в реку Маас, заняли город Бриль и утвердились там, чем положили начало выражению храбрости по всему государству.

Герцог Альба сердито ходил взад и вперед по своему брюссельскому кабинету; посол за послом являлись к нему, и каждое новое известие служило новым красноречивым свидетельством внезапно пробудившегося в нидерландском народе духа. Альба видел, что ему придется снова завоевывать для своего короля больше половины страны, что страшная борьба началась в ту самую минуту, когда он был убежден, что этот народ фактически в его руках и

он может делать с ним, что хочет. Не было ли все это последствием той роковой ночи, когда он спал в своем кресле, а дерзкий похититель уносил драгоценные бумаги и этим уничтожал все его планы и надежды? И задавая себе этот вопрос, Альба уперся взглядом в письменный стол, на котором все еще лежал злополучный кинжал. «Кто мог сделать это?» – спрашивал себя герцог. Он взял кинжал и принялся рассматривать его пристальнее, чем делал это до сих пор, и вдруг различил на клинке надпись, сделанную мелким, но четким шрифтом: «Марраны и Гезы». Это послужило ключом к разгадке. Обе эти партии, которые герцог наиболее презирал и ненавидел, к которым он не знал никакой пощады, членов которых он уже погубил в неимоверном количестве, – они, стало быть, объединились, чтобы отнять у него плоды трудов всей его жизни, унижить и опозорить поседевшего в победах человека и водрузить свободу и право там, где он намеревался непоколебимо установить, хотя бы и на развалинах, испанское господство и испанскую инквизицию. Альба заскрежетал зубами и проговорил: «Ну, коли так, пусть это будет борьба не на жизнь, а на смерть!»

Такие же мысли волновали и Якова Тирадо, когда он почти в это же время встретился в Амстердаме со своим мнимым господином, доном Самуилом Паллаче, почтенным консулом марокканского султана, и вместе с ним сел на крепкий парусный корабль, отплывающий в Лиссабон. Не чувство торжества, не радостное ликование наполняли его душу при мысли о том, что он сделал и что так отлично удалось. «Борьба не на жизнь, а на смерть предстоит нам, – говорил он себе, – и много лет пройдет, много поколений, быть может, сойдет в могилу и заменится другими прежде, чем мир снова восстановится на этих берегах, безопасность и порядок вернутся на эти равнины... Кого может радовать такое положение? Кто решится благословить минуту, когда зажегся этот факел, огню которого суждено разгореться огромным, страшным пламенем? Но необходимо, наконец, завоевать на земле приют для свободы, как бы мал он ни был, приют для прав человека, где не должно быть места вопросу: „во что ты веруешь?“, а может существовать только один вопрос: „как ты поступаешь?“ Да, необходимо – и я снова вернусь на эти берега, снова появлюсь на поле битвы, открытом мной для беспощадной борьбы, и все, что есть во мне – ум, энергию, силу – все отдам я моим единомышленникам-товарищам, дорогим моему сердцу людям! Марраны и гезы – вот наш девиз, и с ним мы одержим победу!»

Дон Самуил Паллаче стоял на палубе и сурово смотрел на берег, от которого все больше и больше удалялся корабль. Он думал «Прощай, морозная, туманная страна, прощай навсегда: ты обманула мои надежды!» Яков Тирадо тоже стоял на палубе и смотрел на эти же берега сверкающими глазами; он думал: «До свидания, страна свободолюбивых людей, до скорого свидания! Звезда надежды возшла для меня на твоём небе; она будет светить мне через беспредельное пространство моря и никогда, никогда не закатится!»

Глава вторая Бегство

I

Северный берег в низовьях Таго – круче противоположного ему, и последние склоны Чинтры образуют на нем красивый ряд возвышенностей, которые, то удаляясь от берега своими изменяющимися формами, то ближе подходя к нему, придают этой местности большую прелесть. За высоким хребтом скрывается здесь не одна уединенная долина, существования которой и не подозревает проплывающий мимо корабельщик и которая составляет особый, совершенно замкнутый мир. Широкая река величаво и красиво катит свои светлые волны в беспредельный океан, который во время разлива втискивает сюда свои воды в ее широкое устье. Берега здесь удалены друг от друга на расстояние полутора немецких миль, и обширная водная поверхность беспрестанно рассекается множеством кораблей, или входящих в надежную лиссабонскую гавань изо всех частей света, или уплывающих отсюда к самым отдаленным уголкам земли.

Мы не пойдем вслед за ними. В том месте, где два лесистых холма отделены друг от друга узкой покатостью, на северном берегу образовалась маленькая бухта, скрытая от глаз полосой земли, вследствие чего отыскать ее может только тот, кто хорошо знаком с этой местностью. Наша лодка огибает эту полосу и бросает якорь в бухте, узкий берег которой покрыт тенистыми ореховыми деревьями. Мы тотчас обнаруживаем здесь проезжую дорогу, уходящую вправо и вскоре направляющуюся к густой роще. Через четверть часа быстрой езды по ней она сворачивает к северу и, протянувшись еще на довольно значительное расстояние лесом, приводит нас к красивым маисовым полям, которые наполняют собой маленькую долину, теперь открывающуюся нашим глазам. Это очень милая картина, потому что высоты, замыкающие долину, частью покрыты зелеными ивами, частью финиковыми и масличными деревьями, частью же образуют крутые, темные, поросшие плющом утесы, с которых катится вниз множество светлых ручьев. Никакие искусственные сады и скверы не украшают эту одинокую долину, никакой парк, ни одна цветочная грядка не свидетельствуют, что здесь укрывается и отдыхает в знойное лето богатый горожанин. То, что дает здесь сама природа, ее яркая зелень, смешивающаяся с пестрыми красками диких цветов, ее чудесный свет, падающий на землю с вечно голубого небосвода, ее свежий, целебный воздух, веющий в долинах с соседнего моря и наполненный тысячами ароматов – все это делает замкнутую долину отрадным и веселым приютом и обещает исцеление тому, кто бежит сюда от шумного света лечить израненную душу.

Пейзажу соответствует и домик, стоящий в конце долины, как раз у подошвы высоких утесов – длинное одноэтажное здание, окрашенное белой краской и лишённое всяких украшений, но окруженное высокими платанами, вследствие чего его присутствие обнаруживаешь лишь тогда, когда вплотную приблизишься к нему. Итак, долина эта кажется лежащей в самой отдаленной, самой уединенной части страны, и ничто здесь не указывает на близкое соседство одного из тех больших средоточий европейской жизни, которые называют столицами, и где бесчисленное количество людей теснится и суетится в узких улицах с высоченными домами, как будто на Божьей земле недостаточно места для того, чтобы служить их детям привольным и веселым жильем.

Ничто из этого городского шума, этой городской суеты не проникало через реку и горы в одинокую долину. Но когда вы всходили на одну из высот, на гребень какого-нибудь утеса, перед вами открывалась грандиознейшая картина. Там, на правом берегу величавой реки

красовался обширный город, раскидывая вверх и вниз по трем холмам целое море домов, с блестящими куполами и башнями церквей, с широкими фасадами дворцов, с бесчисленным количеством крыш, а на другом берегу – волнообразная поверхность, покрытая роскошнейшими нивами и лесами вперемежку со множеством людских обиталищ. Справа перед пораженным взором расстилалась широкая поверхность Атлантического океана, оживленная сотнями кораблей, которые своими надутыми парусами и развевающимися флагами походили на белых и пестрых птиц, уносящихся по беспредельной водной равнине в далекие страны. Широкая река соединяла город и море блестящей лентой, которая весело бежала по изумрудному ковру нив и лугов, и, наконец, в отдалении, подымалась к небу в голубоватой дымке горы Сиерры, чудесно замыкая всю эту картину. Тут вам становилось ясно, что вы принадлежите великому, чудному миру, чудному – благодаря вечным созданиям божественного мирового духа и работе неутомимого, непрерывно обновляющегося человеческого племени; здесь в душе вашей являлось сознание того, что вы, как и всякий – часть, хотя бы и незначительная, великого и бесконечного целого...

Из этого утаенного природой дома несколько дверей выходили прямо в долину; одна из них примыкала к небольшой террасе, защищенной от ветра и солнца стеклянной галереей и высокими растениями в горшках. Перед ней расстилался скромный цветник, грядки которого пересекались великолепными апельсиновыми деревьями, сквозь сочные листья которых просвечивали золотые плоды. В первые часы после полудня на этой террасе находились два человека, бросающиеся в глаза своей оригинальностью. В большом мягком кресле покоится мужчина, вид которого обличает тяжелое физическое страдание. Ему не должно быть больше шестидесяти лет, и все еще округлые черты его лица и несколько сутуловатой фигуры свидетельствуют о том, что он прежде имел хорошее здоровье и жил в свое удовольствие. Но под этой наружностью скрывалась, вероятно, уже с давних пор тайная змея какого-то органического порока, потому что в настоящее время болезнь запечатлела глубокие следы и на лице, и в фигуре человека, и он недвижно, с закрытыми глазами, скорее лежа, чем сидя в кресле, по-видимому пребывал в глубоком сне, полной оторванности от всего, что происходило вокруг него. Кресло было близко придвинуто к одной из стеклянных стен террасы, так что тень от растений скрывала его от солнечных лучей. Перед ним стоял стол, уставленный освежающими напитками и лекарствами, а около стола сидела женщина, занятая рукоделием, но при этом часто устремлявшая задумчивый взгляд то на мужа, то на лазурный свод неба. Это была женщина уже пожилая, но ее лицо и вся фигура хранили неизгладимые следы красоты – той красоты, которая все еще производила завораживающее действие вследствие того, что трудно было решить, в чем ее больше заключено: в пропорциональности ли черт и форм или в благородстве духа, читавшемся в ее темных глазах, на высоком, белом лбу, в прелестном выражении губ, во всей ее статной фигуре. Это лицо говорит нам, а уж седеющие кудри подтверждают, что много внутренних и внешних страданий выпало на долю этой женщины, что она вынесла все эти испытания и ожидает еще более тяжелых, но вынесет и их, и что душа ее предстанет без малейшего пятна перед тронem вечного судьи. Все в ней ясно свидетельствует о добродетели, верности и преданности, лучезарный свет правды неудержимо пробивается наружу из сокровенных глубин этого сердца, как ни густы тени, падающие на него, и ярко озаряет всякую тьму.

Сообщим читателю все, что нам известно о прошлом этой четы. Гаспар Лопес Гомем был знаменитый, в свое время, быть может, богатейший купец в Испании. Жил он в Барселоне, находился в торговых сношениях со всеми важнейшими пунктами Востока и Севера, и его ум и проницательность находили себе соперников только в его рассудительности, увенчивая блистательным успехом все его предприятия. Дедушка Гаспара был близким другом и товарищем великого Абарбанеля, того министра финансов Фердинанда Католика, который добровольно пожертвовал большей частью своих богатств для того, чтобы с оставшейся верной религии отцов частью своего народа отправиться в изгнание. Не так поступил старик Гомем. В счастли-

вой доле он разделял занятия и устремления своего друга, но теперь отошел от него, и чувствуя себя неспособным заплатить большими жертвами за ненадежную долю изгнанника, предпочел перейти в католичество и остаться в отечестве. С тех пор от отца к сыну и от сына к внуку переходила строжайшая набожность в ее наружных проявлениях, переходило аккуратнейшее выполнение всех католических обрядов в сочетании с частыми дарами монастырям и церковным учреждениям и – наряду с этим – неизменное и ревностное занятие священными книгами евреев. В Гаспаре Лопесе тоже вполне примирялись эти два направления, как будто между ними не было ничего противоречащего, ничего враждебного. В самой скрытой комнате своего большого дома, куда не проникал никто, кроме близких ему людей, сидел он в свободные от кипучей деятельности часы, читал книги Ветхого завета и талмуд и находил в этом величайшее удовольствие, живейшее удовлетворение своей духовной потребности. Но в то же время не было человека, наружно превосходившего его строго христианским рвением, и никто никогда не замечал в нем хотя бы малейших проявлений того тревожного состояния, которое должно было явиться естественным последствием этого внутреннего разлада.

Иначе все происходило в семействе Родригес. Предкам сеньоры Майор воспрепятствовали уехать из Испании почти неодолимые затруднения; несказанной борьбы стоил им переход в христианство; пламенная привязанность к старой вере и ее предписаниям воодушевляла всех членов этой семьи и была наследством, передававшимся из одного поколения в другое. Их томило желание оставить эту страну религиозного гнета и жестоких преследований и получить в другом месте драгоценную свободу открыто исповедовать убеждения, которые жили в них и которым безраздельно принадлежало их сердце. Но это обстоятельство, при выдающемся положении, которое они занимали в обществе, только усиливало надзор за ними, за каждым их шагом, и ни один из них не мог бы двинуться за границы Испании без того, чтобы не обречь на гибель оставшихся на родине близких людей. В таких обстоятельствах выросла красавица Майор Родригес, в таких обстоятельствах сделалась она женой Гаспара Лопеса, и ее жизненный путь, по-видимому, столь блестящий и счастливый, был очень тернист. Муж ее не мог понять, что непрерывно побуждало ее уговаривать его покинуть Испанию, не понимал, как можно было тревожиться, чувствовать угрызения совести по поводу вещей, которые ведь уже целое столетие, как пришли в такое положение и сделались сносными вследствие привычки к ним – по поводу такого порядка, который был ведь создан не ими и для которого они как бы родились. Она научилась, наконец, у мужа молчать об этих вещах и только в душе своей переживать непрерывно возобновляющуюся борьбу убеждений с внешними поступками. Часто скорбела она, что в обоих ее подрастающих детях, Марии Нуньес и Мануэле, не было того спокойствия, которое охраняло ее мужа от всякого внутреннего разлада, и что в этих молодых сердцах горела неугасимым пламенем судьба их семейства...

Но и в семье Гаспара не суждено было оставаться всегда не нарушаемым этому наружному спокойствию. Богатство Гаспара, которое, само собой разумеется, считали еще более огромным, чем оно было на самом деле, давно уже возбудило зависть и корыстолюбие сильных церкви и государства. Долго они щадили его, потому что он был полезен им, часто даже необходим, потому что он вел себя осторожно и, благодаря своей щедрости, пользовался в народе большой любовью и популярностью. Наконец, по их мнению, наступило время, когда можно было заняться и им, и когда и ему следовало испытать участь, которая постигла уже столько его единоверцев. Если было мало поводов придрачься собственно к нему, то его жена, семья которой принесла кострам инквизиции уже столько жертв, давала достаточно поводов к подозрению, чтобы отдать ее и всех ее родных в руки инквизиции.

Но Гаспар Лопес и его золото имели друзей и в тех сферах, где замышлялась теперь его гибель, и до него скоро дошла весть о грозившей ему опасности. Как ни насильственно действовала всегда инквизиция, но внезапное появление и вмешательство ее совершались только после долгих, обеспечивающих все последующие действия приготовлений. Свои жертвы она

опутывала всевозможными сетями, обходилась с ними приветливо и, по-видимому, с величайшим доверием, ставила им всевозможные искушения и соблазны и при этом вела за ними самое строгое, неусыпное наблюдение. Таким образом ей удавалось подобрать факты, которые при мало-мальски смелом и вольном толковании давали достаточно веские основания для тюремного заточения и пыток, а затем – для смертного приговора. Но Лопес, благодаря своим связям, имел время подвести свои контрмины, и так как он скоро убедился, что правители государства отрекутся от него и отдадут его в жертву инквизиции, то с величайшей осторожностью, но вместе с тем и твердой энергией поспешил обеспечить почти все богатство перенесением своих торговых оборотов в конторы, бывшие у него в Генуе, Венеции, Ливорно, Анконе, Смирне и Лондоне. Но при этом, для устранения подозрений, он наполнял свои барселонские склады менее ценными товарами и давал своим агентам поручения приискивать ему в Испании разные участки земли, которые он, по-видимому, желал приобрести в свою собственность. Такому образу действий он был, по крайней мере, обязан тем, что его враги не ускорили выполнения предначертанных им относительно него мер – и вот в одно прекрасное утро он исчез из Барселоны со всеми членами своей семьи, сел на ожидавший его корабль и быстро поплыл в Лиссабон. Инквизиция поступила в соответствии со своими принципами: она выдвинула обвинения, последствием которых был заочный смертный приговор супругов, но желанная добыча тем не менее ускользнула из их рук, – и остались только незначительные крохи, между тем, как настоящий лакомый кусок ушел далеко. Но почему Лопес отправился именно в Лиссабон? Разве там ему не грозила та же опасность? Разве король Иоанн III, вопреки своему обычному и испытанному благоразумию, не склонялся на убеждения своих советников, ввести и в своем государстве инквизицию? Разве его наследник, молодой Себастьян, воспитанный иезуитами, не был проникнут религиозным фанатизмом, вследствие чего от него нельзя было ожидать ничего, кроме жестокости для беглецов, только что спасшихся из сетей инквизиций? Но куда же им было направить свои стопы? Изю всех северных государств евреи были изгнаны, в Германии их гоняли из города в город, Италия стонала под испанским господством, а в Церковной Области последние папы были настроены самым враждебным образом против заблудших детей Авраама. Фанатическая ненависть именно в это время торжествовала свои последние победы, и страшный раскол внутри христианской церкви, последствием которого была упорная и ожесточенная борьба между старой и новой церковью, только усилила нетерпимость к евреям с обеих сторон. Таким образом, только восточные страны оставались в это время открытыми для еврейских беженцев, именно для марранов – перешедших в христианство испанских евреев, которые бежали с Пиренейского полуострова или боясь инквизиции, возводившей их на костры под предлогом неискренней преданности христианству, или вследствие неодолимого стремления вернуться к вере своих отцов. Но в восточных странах – в северной Африке и Азии, внутренний порядок уже не был на такой высоте, как прежде, и повсюду, за исключением разве что турецких провинций в Европе, к евреям относились с самым оскорбительным презрением. Притом образ жизни тут и там был до такой степени различен, что человек, проживший некоторое время в цивилизованном мире Испании, мог только в самой крайней нужде решиться перебраться на Восток. Для Гаспара Лопеса это было немислимо; он слишком сильно сжился со своими привычками, слишком мало подчинялся своим внутренним побудительным причинам, чтобы, имея уверенность, что личности его не угрожает опасность, решиться уехать еще дальше. Но к этому присоединилось еще и то обстоятельство, что в Лиссабоне он надеялся найти для себя полную гарантию. Молодой король был так поглощен своими фантастическими планами покорения неверных в Африке и подчинения папскому престолу богатых прибрежных стран этой части света, что предоставлял полную свободу различным партиям внутри своего государства и, конечно, готов был оказывать свое покровительство тем из них, которые могли и желали помочь ему в военных приготовлениях и действиях. Во главе одной из партий, менее клерикальной, чем остальные, находился Антонио, приор монастыря в Крато.

Он был сыном герцога Людовика-ди-Бейя, второго сына короля Эммануила, и, таким образом, в очень близком родстве с королем Себастьяном, так как их отделял друг от друга только дядя Антонио, шестидесятисемилетний кардинал Генрих, третий сын великого Эммануила. Но герцог Людовик, отец Антонио, провинился неравным браком, так как он, пламенно влюбившись в прекрасную Изабеллу Родригес, женился на ней. Плодом этого союза был Антонио. Вследствие этого племянница Изабеллы, жена Гаспара Лопеса, могла без сомнения рассчитывать на покровительство Антонио для себя и своих родных, несмотря на то, что его родители давно уже покоились в могиле. И она не ошиблась, а так как ее муж обещал подарить королю полное вооружение на тысячу человек для предстоящего африканского похода, то влиятельному приору было нетрудно добыть для своего родственника королевское слово ручательства за его безопасность.

Так прожила семья Гомем в Лиссабоне несколько спокойных лет, хотя и не без тревог и опасений, что будущее могло снова стать мрачным и тяжелым. Но вот наступила пора, когда Себастьян осуществил наконец свой давно лелеемый план. Он благополучно переправил свое войско в Африку, но в Алкассарской равнине произошла между его солдатами и несравненно более многочисленной армией Мулея-Молуха страшная битва, окончившаяся несчастливо, даже смертью молодого короля. Это было страшным ударом для Португальского королевства. На престол вступил старый кардинал; но кто же будет его преемником? Четыре потомка Эммануила заспорили о наследстве – в том числе сам Филипп II и приор Антонио. Против первого восставали на том основании, что он только по матери, старшей дочери Эммануила, имел право на престол, и португальский народ ненавидел его; противодействие второму происходило оттого, что испанская партия – а в ее состав входили вельможи, часть которых купила себе дворянство на испанские деньги, и большинство духовенства – признавала его незаконнорожденным, отвергая законность брака его родителей. Этот вопрос непрерывно занимал старого короля во все время его полуторагодового царствования, сильно возбуждал интриги партий и, само собой разумеется, так и остался неразрешенным.

После Алкассарской битвы Гаспар Лопес оставил Лиссабон и переселился в уединенную долину, в которой, благодаря ее местоположению и скромной обстановке, он мог оставаться забытым и незамеченным более, чем когда-либо. Притом это случилось тем легче, что в столице Лопес не играл никакой роли, и боровшиеся между собой партии не имели времени заниматься второстепенными вещами или, благодаря насилию, уже теперь приобретать себе врагов и ненавистников. Но тут Лопес заболел и через несколько месяцев впал в то состояние постоянной дремоты, в котором мы и застали его на маленькой террасе его дома.

Сеньора Майор мало-помалу погрузилась в глубокую задумчивость. Ей казалось, что муж спит или охвачен тем полным расслаблением, которое делало его неспособным для всякого физического и умственного движения, и это освобождало ее от необходимости притворяться, пересиливать себя. Черты ее благородного лица приняли выражение сильнейшей тревоги и печали, и между тем, как руки продолжали механически работать, голова опустилась, и мысли, по-видимому, улетели куда-то далеко. Но она ошибалась, думая, что никто не наблюдал за ней. Гаспар Лопес в последние дни несколько оправился и окреп, не обнаруживая, впрочем, этого по своей привычке к покою. Он уже несколько раз открывал глаза и устремлял испытующий взгляд на жену; затем он сделал неслышное усилие приподняться из своего полулежачего положения, и это ему удалось. Он сел и после краткого молчания нежно прошептал:

– Милая Майор, дорогая жена!

Жена вздрогнула. Этот неожиданный зов сперва страшно напугал ее; но первый же взгляд на спокойно сидевшего и почти улыбавшегося мужа сменил этот ужас на несказанную радость.

– Гаспар, Гаспар! – воскликнула она. – Что с тобой? Как ты себя чувствуешь?

Она быстро вскочила, подбежала к Лопесу и обняла его так порывисто, что это даже не совсем понравилось ему.

– Успокойся, Майор, – сказал он кротко, но решительно, – я чувствую себя значительно лучше, да хранит меня Бог и впредь... Дай мне поесть и выпить чего-нибудь прохладительного, а потом придвинь свой стул поближе ко мне и сядь.

Она радостно исполнила эту просьбу, хотя посуда и дрожала в ее руках, и восторгалась, видя, что ее муж снова ест и пьет если не с особенно большим аппетитом, то все-таки охотно. Когда она уселась возле него, он взял ее за руку и сказал:

– Ну, теперь, Майор, ты должна ответить мне на один вопрос, но только откровенно, со свойственной тебе правдивостью. Уже два дня, как я наблюдаю за тобой, и видел несколько раз, как твое лицо омрачалось заботами и скорбями. Скажи мне, что гнетет тебя, не скрывай ничего.

Глаза старика при этом были устремлены на жену с вопросительным и в то же время молящим выражением. Она встревожилась, ее бледные щеки зарумянились.

– Но, милый Лопес, – ответила она нерешительно, – разве твоя болезнь не достаточный повод для забот и печали? Разве тут нужны иные причины?

– Нет-нет, Майор, не старайся обмануть меня. То, что тебя тревожит и огорчает моя болезнь – это я хорошо знаю, но я также убежден, что сюда добавилось и нечто другое, и вот об этом-то я и спрашиваю тебя. Твое смущение сейчас только подтверждает мои подозрения. Не возражай, – продолжал он, заметив, что она хочет перебить его, – я знаю, что ты хочешь сказать: что мне следует помнить о своих недугах и не думать ни о каких делах. Но ты знаешь, что меня может волновать, а следовательно, и вредить мне – только неизвестность. Помимо этого, я все переносю твердо, и потому говори смело.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.